

ПУШКИНСКАЯ



БИБЛИОТЕКА

Н.Ф. Шахмагонов

ПОСЛЕДНИЕ ДУЭЛИ ПУШКИНА И ЛЕРМОНТОВА



Пушкинская библиотека

Николай Шахмагонов

**Последние дуэли
Пушкина и Лермонтова**

«ВЕЧЕ»

2018

Шахмагонов Н. Ф.

Последние дуэли Пушкина и Лермонтова / Н. Ф. Шахмагонов —
«ВЕЧЕ», 2018 — (Пушкинская библиотека)

ISBN 978-5-4484-7173-5

Две роковых дуэли, унесшие жизни величайших русских поэтов Пушкина и Лермонтова, и до ныне волнуют сердца не только историков литературы, но и всех любителей русской литературы. Не все обстоятельства этих поединков досконально изучены, особенно вызывает много вопросов дуэль Лермонтова и Мартынова. Каждый из поэтов имел множество влиятельных врагов, каждый пользовался славой вольнолюбца и возмутителя общественного спокойствия, каждый из них, в разные годы, вызывал недовольство императора и его окружения. Эти обстоятельства иногда наталкивают современных биографов на версии масонских или придворных заговоров, целью которых было убийство Пушкина и Лермонтова. Очередная книга серии знакомит читателя с одним из подобных предположений, принадлежащим перу писателя, автора художественно-исторических биографий, Николая Шахмагонова.

ISBN 978-5-4484-7173-5

© Шахмагонов Н. Ф., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

От автора	6
Дуэль или убийство группой лиц по сговору?	11
Дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова	15
«...Саша среди бала вызвал Павла Ганнибала»	18
Вызов за «молитву лейб-гусарских офицеров»	20
Дуэль из-за «Кюхельбекерно и тошно»	22
Иван Лажечников: «Тогда я совершил великое дело»	25
Сплетник Рылеев в Пушкина стрелял всерьёз	29
Толстой не хотел стрелять в Пушкина	35
Направление Кишинёв. Ссылка или служебная командировка?	39
Странная дорога в Кишинёв	46
В кругу военных разведчиков	53
«Докажу им, что я не школьник!»	55
Дуэль из-за «Чёрной шали»	57
Национальное качество – подлость	60
Завтрак под дулом пистолета	62
«...дело с храбрым и хладнокровным человеком...»	64
Конец ознакомительного фрагмента.	65

В. Ф. Шахмагонов
Последние дуэли Пушкина и Лермонтова

© Шахмагонов Н. Ф., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2018

* * *

От автора

Вспомним песню «Памяти Виктора Цоя». Её автор – Игорь Тальков, поэт и композитор, кумир молодёжи, убитый при так умышленно и не открытых обстоятельствах. Вспомним слова, которые можно отнести не только к Виктору Цою, не только к самому автору стихотворения Игорю Талькову, но и к самым выдающимся поэтам в летописи России – к Пушкину и Лермонтову, к Есенину и Маяковскому, ко многим поэтам есенинского круга и к Николаю Рубцову...

Вот эти слова. Вдумайтесь в них...

Они уходят, выполнив задание,
Их отзывают высшие миры.
Неведомые нашему сознанию,
По правилам космической игры.
Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш.
Актёры, музыканты и поэты
Целители уставших наших душ.

Вдумались?! А теперь давайте хотя бы кратко посмотрим, кто из поэтов и как погиб...

Солнце Русской Поэзии – Александр Сергеевич Пушкин – убит в результате заговора тёмных сил, убит французским киллером, одетым в броню, убит при обстоятельствах, прикрытых удобным в ту пору наименованием «дуэль».

Об этом мы подробно поговорим в предлагаемой книге.

Верный последователь Пушкина – Михаил Юрьевич Лермонтов – поэт, который, по словам Государя Императора Николая I, «мог заменить нам Пушкина», убит ещё более коварно, без всякой дуэли, киллером, уже не залётным, а доморощенным – Николаем Соломоновичем Мартыновым, «Соломоновым сыном», как называл его Лермонтов, на склонах горы Машук. Никто не слышал объяснений Лермонтова и Мартынова, никто не слышал вызова на дуэль, да и о предстоящей дуэли Лермонтов никому не говорил. На Машук же отправился после обеда, без оружия, поехал, как тогда показалось очевидцам – тем, кто был в тот день рядом с поэтом, – по приглашению Мартынова. Зачем? Для примирения после небольшой ссоры или по приглашению на дружескую пирушку – это неизвестно.

Ведь до убийства вообще речи нигде о предстоящей дуэли не было. Это уже потом мнимые секунданты, покрывающие преступления, выдумывали каждый своё, поскольку договориться не могли – находились-то на гауптвахте. Некоторые записочки сохранились. Там и поучали друг друга, как рассказывать о якобы происшедшей дуэли.

Откуда же известно о дуэли? Лермонтова «надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов», заставили замолчать навеки. Ну а придумана дуэль, причём в разных вариациях, этими самыми потомками-подонками, которые все были либо явными врагами Михаила Юрьевича, либо врагами тайными. Причём и те и другие были завистниками, а первым из них бездарь-графоман Мартынов, что-то рифмующий, но не стихи... Словом, говоря языком нынешним, собралась организованная преступная группировка и совершила убийство по сговору... А потом, когда придумала эта группировка дуэль, члены её никак договориться не могли, кто и чьим был секундантом. Тоже существуют разные варианты.

Но до нас дошло очень важное замечание сослуживца Лермонтова, хорошо знавшего или по фактам точно предположившего, что случилось 15 июля 1841 года на Машуке, замечание отважного офицера и первейшего дуэлянта Руфина Дорохова: «Дуэли не было – было убийство».

Обо всём этом подробно говорим в книге, в главах, посвящённых Лермонтову, его грандиозному таланту, его мужеству, отваге, его поэзии, его пророчествам и его убийству доморощенными сановными уголовниками.

До сей поры идут споры, как повесился, да и повесился ли Сергей Александрович Есенин, каким образом он мог совершить самоубийство в невозможных для этого действия условиях. Немало публикаций, немало домыслов, немало фактов, несогласующихся между собой. И совершенно ясные мотивы убийства со стороны уголовников, прорвавшихся к управлению страной и пытавшихся сорвать социалистическое строительство любыми путями, в том числе и физическим уничтожением выдающихся русских деятелей литературы. Но об этом – в будущих книгах.

Наконец, поэт-трибун Владимир Маяковский, взывавший:

Встретить я хочу свой смертный час
Так, как встретил смерть товарищ Нетте...

Помните это стихотворение – «Товарищу Нетте, пароходу и человеку»?

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».

И момент гибели дипкурьера Нетте...

(...) Будто навек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
(...)
Мы идём
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

И заключение:

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.

Но в конце хочу –
других желаний нету –
встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.

В годы советской власти полагалось знать обо всём этом так, как было предписано ещё во времена гибели Сергея Есенина (1825 г.) и Владимира Маяковского (1930 г.). В учебниках – Есенин повесился в гостинице «Англетер», а Маяковский застрелился в Москве, и тело было стремительно кремировано. Для чего спешка? Да чтобы не было даже попыток разобраться в странном самоубийстве жизнерадостного человека и настоящего борца.

Оценивая значение Есенина и Маяковского, Евгений Евтушенко в стихотворении «Письмо Есенину» восклицал:

...Что сволочей хватает – не беда.
Нет Ленина. Вот это очень тяжело,
И тяжело то, что нет ещё тебя
И твоего соперника – горлана.
Я Вам, конечно, не судья,
Но всё-таки ушли Вы очень рано...

Да, в советский период навязывалось мнение, что сами ушли, сами. И конечно, публикации об убийствах появиться вплоть до второй половины восьмидесятых не могли.

Вслед за Есениным и Маяковским стали стремительно уходить из жизни поэты есенинского круга.

Сергей Клычков 8 октября 1937 года «по ложному обвинению» приговорён к смертной казни и в тот же день расстрелян.

Николай Алексеевич Клюев 13 октября 1937 года был приговорён на заседании тройки управления НКВД Новосибирской области к расстрелу «по делу о никогда не существовавшей “кадетско-монархической повстанческой организации “Союз спасения России”» и в конце октября расстрелян.

В 1937 году был арестован певец русской природы, певец русской деревни Пётр Орешин, и в начале 1938 года расстрелян.

Поэт Александр Ширяевец (настоящее имя Александр Васильевич Абрамов), по словам Станислава Куняева, яркий представитель новокрестьянских поэтов, или «поэтов русского Возрождения», постоянно подчёркивал в своих произведениях своё несогласие с современностью, своё неприятие к фабричной, «читающей с Карлом Марксом, Руси», и любовь к Руси деревенской, земледельческой. Он утверждал:

Никогда старина не загаснет:
Слишком русское сердце моё...
Позабуду ли песни на Клязьме!
Как я мчался с тяжёлым копьём...
Вечевые прибойные клики!
Ветер Волхова вздул паруса!
То палач я, то нищий калика,

То с булатом в разбойных лесах...
Не припомню, какого я роду,
Своего я не помню села...
Ускакал я в бывалые годы,
Старь родная меня занесла.

В 1924 году его «ушли из жизни».

Не допел свои куплеты и Павел Васильев, по словам Сергея Клычкова, родоначальник «героического периода» в русской литературе «эпохи побеждающего в человеческой душе коммунизма».

Его земной путь оборвался в 1937 году, на 28-м году жизни... 15 июля он был приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к «террористической группе», якобы готовившей покушение на Сталина. Расстрелян в Лефортовской тюрьме 16 июля 1937 года...

Все уничтоженные поэты были впоследствии реабилитированы. Ну а кем они были уничтожены – тут разговор особый. Бессовестные заявления бессовестных лжецов о том, что поэты стали якобы «жертвами сталинских репрессий», смешны, если не сказать – преступны. Об этом не устают писать честные исследователи прошлого, но их никто не слышит.

Автор книги: «Пятая колонна» А. Н. Игнатьев пишет:

«Деятельность Сталина оценили недобитые им троцкисты. Прошло уже много лет после его смерти, но и они, а точнее их внуки, до сих пор не могут понять, как это он, Сталин, поставленный ими же во главе партии, сумел отнять у них власть над Россией. И не просто отнять, а и наказать за её разгром, за море человеческой крови, пролитой русским народом. Сталин еще тогда, в 1937–1938 годах, устроил над троцкистами своего рода “Нюрнбергский процесс”».

Загадочной является и гибель замечательного русского поэта Николая Рубцова. Тоже известны одни глупейшие выдумки. Дошли до того, что заявляли, будто любовница по пьяни подушкой задушила. Пьянство приписывали в той или иной мере всем, кого хотели опорочить за выдающийся талант, пугавший слуг тёмных сил. Убили. И нет человека, создававшего проблемы для воинствующих русофобов. Убили Пушкина – и нет проблем. Убили Лермонтова, обличившего убийц Пушкина, – и нет проблем, убили Есенина, певца русской природы, русской деревни обличающего мерзавцев в своей «Стране негодяев», – и нет проблем. Убили Маяковского, разобравшегося в том, кто есть кто в деле революции, – и снова нет проблем. Убили талантливых поэтов есенинского круга – и вот уже открыта дорога бездарности, вызывавшей как Джек Алтаузен:

Я предлагаю Минина расплавить...
Пожарского. Зачем им пьедестал?
Довольно нам двух лавочников славить,
Их за прилавками Октябрь застал.
Случайно им мы не свернули шею.
Я знаю: это было бы под стать.
Подумаешь – они спасли Расею!
А может, лучше было б не спасать?

Убили Николая Рубцова с его великолепными стихами о России, и снова повалила серость графоманская, несколько сдерживаемая, правда, столь ненавидимыми бездарями худсоветами.

Убили Талькова – и открылась дорога всякому мусору, наподобие – «ты целуй меня везде – восемнадцать мне уже» или «вот такая вот зараза, девушка моей мечты...»

Но об этом ещё поговорим...

Снова вспомним стихотворение Игоря Талькова, ставшее популярной песней...

Поэты не рождаются случайно,
Они летят на землю с высоты.
Их жизнь окружена глубокой тайной,
Хотя они открыты и просты.
Глаза таких божественных посланцев
Всегда печальны и верны мечте.
И в хаосе проблем их души вечно светят тем
Мирам, что заблудились в темноте.

Если обратимся к духовному назначению Пушкина и Лермонтова, то вышесказанное Игорем Тальковым более чем подходит именно к ним. Они пришли на Русскую землю Промыслом Божьим и принесли нам свет правды, свет истины, без которого легко заблудиться в темноте. И враги рода человеческого сделали всё возможное, чтобы погасить эти Божественные светильники. Но эта задача не под силу нелюдям...

Игорь Тальков верно заметил:

В лесах их песни птицы допевают,
В полях для них цветы венки совьют.
Они уходят вдаль, но никогда не умирают,
И в песнях, и в стихах своих живут...

Да, действительно, и Александр Сергеевич Пушкин, и Михаил Юрьевич Лермонтов жили, живут и будут в своих бессмертных произведениях жить вечно.

Дуэль или убийство группой лиц по сговору?

Если применить нынешнюю терминологию, то квалифицировать происшедшее на Чёрной речке 27 января 1837 года можно именно как «Убийство по предварительному сговору группой лиц». А это, согласно Уголовному кодексу, «означает, что между соисполнителями имеется соглашение (договоренность) на объединение усилий для того, чтобы лишить жизни потерпевшего».

Достаточно вникнуть в условия дуэли.

Но сначала коснёмся дуэлей вообще.

Сами по себе эти поединки на европейский лад родились не в России, да и не могли родиться, поскольку на Руси если и бывали поединки и схватки, то к ним относились кулачные бои. Или стенка на стенку, или такие, как описанный Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» кулачный поединок.

Там всё честно и открыто. И пулю в ствол нельзя «забыть положить», как это сделали Грушницкий с секундантом. Видимо, Лермонтов предполагал, что в пистолеты на Чёрной речке не досыпали порох, а потому использовал в своём «Герое нашего времени» нечто похожее. И бронежилет не мог в России никто надеть, как это сделал Дантес. Никто, кроме залётных проходимцев.

А на европейском Западе изначально умудрялись жульничать как на рыцарских турнирах, так и на поединках с использованием уже огнестрельного оружия. Таков он – с давних времён прогнивший Запад. Если задуматься, нельзя не заметить лукавство в самих определениях – рыцарь, рыцарство. Ведь это слово у нас по сию пору пытаются сделать символом благородства. Но нет, на Западе, чтобы указать на благородство, прибавляли – благородный рыцарь.

Ну а рыцарство в целом – это жестокие агрессии против других стран, это сожжение городов и сёл, это грабеж, это пытки и убийства стариков, женщин, детей, словом, всех тех безоружных и не способных оказать сопротивление, кого легко убивать «храбрым» рыцарям.

Думаю, что синонимов силы, благородства, чести и достоинства является для нас слово витязь! Русский витязь!

Примером рыцарства является омерзительный заговор сановных уголовников против Пушкина, осуществлённый с особой жестокостью 27 января 1837 года на Чёрной речке.

Эта изуверская жестокость проявилась даже в условиях дуэли, которые не оставляли Александру Сергеевичу Пушкину ни единого шанса выжить, и в то же время они не были ни в коей мере опасны залётному проходимцу Дантесу, по нынешней терминологии – киллеру, избранному организованной преступной группировкой уголовников для совершения убийства.

Непонятно, каким образом можно на протяжении многих десятилетий рассуждать о дуэли, когда дуэли не было, когда секунданты даже порошу в пистолеты не досыпали, чтобы пуля, выпущенная из пистолета Пушкина, не могла пробить бронежилет Дантеса, а пуля, выпущенная залётным проходимцем, должна была остаться в теле Пушкина, став дополнительно ещё и источником заражения крови. Всё было продумано мерзавцами из организованной преступной группировки.

Примерно в четырнадцать часов 27 января 1837 года, или, как в ту пору говорили, около двух часов пополудни, секундант Пушкина Данзас и секундант Дантеса виконт д'Аршиак, который в ту пору являлся атташе французского посольства, славившегося своими мерзостями в отношении России, составили условия дуэли, отличавшиеся своей чисто европейской жестокостью. Такие условия предполагали только смертельный исход для одного из противников. Ну а при обстоятельствах, которые были неведомы лишь одному Пушкину, ну и, надо наде-

яться, Данзасу, тем противником, который не мог выжить, был именно Пушкин, поскольку бронежилет надежно защищал Дантеса.

Я сказал, «надо надеяться», что это не было известно Данзасу, поскольку сей инородец никогда не был другом Пушкина, но зато был соучеником по лицею, а в лицее готовили отнюдь не патриотов России. Кстати, немало воспитанников, разумеется, уже выпускников лицея, вошли в другую организованную преступную группировку – банду декабристов, пытавшихся уже в 1825 году вырезать всю династию Романовых, сокрушить самодержавие и сделать Россию сырьевым придатком Запада.

По мнению специалистов по баллистике, Данзас не мог не заметить, что выстрел Пушкина в Дантеса был смертельным, не мог не удивиться тому, что Дантеса удар пули сбил с ног. Когда пуля попадает в человека, не защищённого броней, он не отлетает назад, а сжимается и падает вперёд. Но Данзасу замечать такое было опасно, ведь члены организованной преступной группировки вполне могли вслед за Пушкиным убить и его, а потом составить ещё одно условие дуэли.

Пушкин на Чёрную речку вышел один на один с бандой убийц, причём секундант его вёл себя довольно странно – отвёз раненого поэта не в госпиталь или больницу, где могли оказать квалифицированную хирургическую помощь, а домой, где не было никаких условий для оказания какой бы то ни было медицинской помощи, разве что только первой, то есть такой, которая оказывается санинструкторами на поле боя.

Это равносильно тому, что раненных в бою не направляли бы сначала в батальонный или полковой медицинский пункт, затем в медсанбат и после сортировки и оказания квалифицированной врачебной помощи, при необходимости – в госпиталь, а отпускали бы по домам, лечиться, где они могли бы сами пригласить того, кто попадётся под руку для обработки раны. Глупость? Безусловно. Глупость и нелепость! Но вот в случае с Пушкиным никто это глупостью и нелепостью почему-то не считает. Тут всё, мол, верно. И лечили старательно! Вот только в какую сторону были направлены старания? И об этом поговорим в соответствующей главе, как и обо всех омерзительных этапах подготовки к дуэли. Омерзительных со стороны в первую очередь инородцев – австрийского министра русских иностранных дел Нессельроде и его жены, уродством напоминающей фамилию, а потом невероятно злой и коварной, ну и со стороны супружеской пары – нидерландского посла барона Геккерна и его возлюбленного (или возлюбленной) Дантеса. Это заправила организованной преступной группировки. Включала банда и прочих мерзавцев.

Пушкин же, как известно, был предельно честен и порядочен во всём, а потому просто не предполагал подлости со стороны своих противников в столь щепетильном деле, каковым считал подготовку к поединку. Он верил людям и, к сожалению, верил даже отпетым мерзавцам. Увы, люди высоких достоинств порою даже не предполагают в других особях омерзительных качеств, поскольку сами таковых не имеют и считают их нечеловеческими, а потому невозможными.

Он готов был драться, он верил своему секунданту, он доверял противникам и лишь по их настоянию попросил Данзаса обсудить условия дуэли. А тот и рад стараться – даже не попытался смягчить смертельные условия, хотя по положению в определении условий обе стороны имели равные возможности. Так что о безутешном горе Данзаса можно рассуждать столько, сколько вздумается, но поведение его говорит о его в лучшем случае равнодушии, которое вполне могло быть продиктовано обыкновенной завистью к гениальному соученику по лицей – не могу сказать «однокласснику». Вспомним, что сказал истинный и неллицемерный друг Пушкина Иван Пущин! Он прямо заявил, что если бы в тот день находился в Петербурге, пуля Дантеса нашла его грудь!

Секундант Дантеса виконт д'Аршиак настаивал на составлении условий, понимая преступный характер самого поединка – в России дуэли были официально запрещены и наказуемы

смертной казнь через повешение. Д'Аршиак стремился создать хоть какое-то алиби, которое потом, при содействии великосветкой банды, организовавшей убийство, могло помочь избежать наказания.

Итак, преступные условия были определены при полном согласии обоих секундантов.

Многие авторы, пишущие на эту тему, сетуют на жестокость этих условий. Но, позвольте, к кому претензии? Разве только к секунданту Дантеса? Почему Данзас не выступил против, а покорно согласился? Почему он не воспротивился, почему не выдвинул иные условия, почему не спорил?

От каждой строки условий дуэли веет ненавистью к Пушкину – русскому гению и Солнцу Русской поэзии:

«1. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов (для каждого) от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам.

2. Вооружённые пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того, принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым огнём своего противника подвергся на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непременными посредниками во всяком объяснении между противниками на месте боя.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облеченные всеми полномочиями, обеспечивают, каждый за свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

«Своей честью обеспечивают строгое соблюдение»?! От этой фразы веет леденящей мерзостью и цинизмом. Честь одели в бронежилет! Вот это честь! Чисто европейская! Собственно, ныне честь европейцев мы наблюдаем почти ежедневно. Правильнее бы было в шестом пункте условий дуэли записать «своим бесчестьем» следили за непременным свершением убийства.

Кстати, на склоне лет Дантес с ещё более высокомерным и омерзительным цинизмом, вполне характерным бездушному европейскому рыцарству, заявил, что если бы не посчастливилось ему в молодости убить самого Пушкина, то не сложилась бы его жизнь столь удачно, не достиг бы он таких высот во французской иерархии, не был бы отмечен высшими наградами Франции за свой коварный выстрел, не разбогател бы, а закончил свой земной путь небогатым отставником где-то в глуши.

Впрочем, о тех наградах и чинах, которые получил Дантес от французского правительства, буквально осыпавшего его милостями за убийство русского гения, мы ещё поговорим в соответствующей главе.

Ну а пока остаётся добавить следующее. Военный писатель полковник П. А. Швейковский, военный следователь Петербургского военного округа, в 1898 году выпустил монографию «Суд общества офицеров и дуэль в войсках Российской армии», которую посвятил детальному исследованию дуэльного кодекса и правилам дуэли, разрешенной в Российской императорской армии приказом по Военному ведомству от 18 мая 1894 года, отметив:

«Поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести, с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя».

Вот только о выборе бронежилета забыл сказать. По правилам же дуэлянты не имели права иметь в карманах ничего лишнего. Нельзя было стреляться, имея на груди ордена и

медали, все металлические предметы, портсигары и прочее нужно было изъять из карманов. Ведь всё это создавало преимущество для одного из противников.

Знаменитый наш писатель, который особенно дорог русскому офицерству за свои произведения «Кадеты», «Юнкера» и «Поединок», Александр Иванович Куприн, о дуэлях отзывался так:

«Дуэль – варварский обычай, пережиток старины. Но, господа, скажу вам, не клеветайте на дуэль, – это рыцарски благородный способ защитить открыто, что дороже жизни, – честь человека».

Увы, под дуэли часто камуфлировались самые жестокие и коварные убийства, как это было в случае с Александром Сергеевичем Пушкиным и Михаилом Юрьевичем Лермонтовым.

О подготовке этих подлых убийств, организованных русофобскими тёмными силами при помощи своих холуёв, окопавшихся в России, для которых честь и слава Русской Державы – пустое место – наш рассказ...

Дуэли в творчестве Пушкина и Лермонтова

Есть какая-то мистика в том, что в творчестве, особенно Александра Сергеевича Пушкина, ну и чуть в меньшей степени Михаила Юрьевича Лермонтова, дуэлям отводится особое место. Эта тема словно притягивала поэтов.

Вспомним роман «Евгений Онегин».

«Теперь сходитесь». Хладнокровно,
Ещё не целя, два врага
Походкой твёрдой, тихо, ровно,
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений
Не преставаая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов ещё ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить – но как раз
Онегин выстрелил... Пробили
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет.

Упреждающий выстрел... Это словно предвидение того, что будет. Лишь одного не мог предположить Пушкин, работая над своим романом в стихах – для чего был необходим его убийце Дантесу этот упреждающий выстрел? Рисковал ли женоподобный французишка? Ведь если промах, то... Пушкин, будучи отличным стрелком, не оставил бы ему шанса.

Оказывается, нет, риска для Дантеса не было. В соответствующей главе узнаем, почему он не рисковал вовсе, ну а торопился, желая, видимо, закончить всё разом.

Теперь обратимся к рассказу «Выстрел». Там и вовсе выписана дуэль во всех её вариациях, да ещё и с продолжением. Мало того, в художественное отображение поведения одного из героев Пушкин вложил своё, личное, о чём мы тоже узнаем в соответствующей главе.

Пушкин, повторяю, описывая дуэли, не мог предположить лишь одного – подлости одного из соперников. Хотя постойте... Ведь в «Капитанской дочке» Швабрин сумел ранить Петрушу Гринёву не просто так, а воспользовавшись ситуацией, которой мог воспользоваться лишь дурной человек.

Вспомним этот эпизод...

Повествование ведётся от имени Петруши Гринёва.

«Спустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я своё имя, громко произнесённое. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегającego ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже плеча; я упал и лишился чувств».

Швабрин воспользовался тем, что Гринёва отвлёк Савельич. Порядочный человек должен бы прекратить бой и подождать, но Швабрин, как известно, был отпетым негодяем.

Пушкин, обращаясь к описанию дуэлей, выписывал их тщательно, словно они его завораживали.

И Лермонтов отдавал должное таким описаниям, правда, он изначально предполагал, что один из противников может быть подлецом, каковым и явился Грушницкий, которого, впрочем, подговорили на подлость «знатоки».

Печорин разгадал коварный план, заключавшийся в том, что в его пистолет друзья Грушницкого забудут «положить пулю». Ну и решил проучить негодяев.

Повествование в «Герое нашего времени», как известно, ведётся от Печорина:

«Следующие слова я произнёс нарочно с расстановкой, громко и внятно, как произносят смертный приговор:

– Доктор, эти господа, вероятно, второпях, забыли положить пулю в мой пистолет: прошу вас зарядить его снова, – и хорошенько!

– Не может быть! – кричал капитан, – не может быть! я зарядил оба пистолета; разве что из вашего пуля выкатилась... это не моя вина! – А вы не имеете права перезаряжать... никакого права... это совершенно против правил; я не позволю...

– Хорошо! – сказал я капитану, – если так, то мы будем с вами стреляться на тех же условиях...

Он замялся.

Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и мрачный.

– Оставь их! – сказал он наконец капитану, который хотел вырвать пистолет мой из рук доктора... – Ведь ты сам знаешь, что они правы.

Напрасно капитан делал ему разные знаки. Грушницкий не хотел и смотреть.

Между тем доктор зарядил пистолет и подал мне. Увидев это, капитан плюнул и топнул ногой.

– Дурак же ты, братец, – сказал он, – пошлый дурак!.. Уж положился на меня, так слушайся во всем... Поделом же тебе! околевай себе, как муха... – Он отвернулся и, отходя, пробормотал: – А всё-таки это совершенно против правил.

– Грушницкий! – сказал я, – ещё есть время; откажись от своей клеветы, и я тебе прощу всё. Тебе не удалось меня подурочить, и моё самолюбие удовлетворено; – вспомни – мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали.

– Стреляйте! – отвечал он, – я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоём нет места...

Я выстрелил...

Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было. Только прах лёгким столбом ещё вился на краю обрыва».

Знал ли Михаил Юрьевич Лермонтов о той подлости, которую применили «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов», готовя убийство Пушкина? Быть может, всё в точности он и не мог знать, даже, скорее всего, детали просто не могли быть ему известны, но, судя по резкому, обличительному тону стихотворения «Смерть поэта», не просто догадывался – был уверен, что произошло жестокое и коварное убийство.

Сколько дуэлей было у Пушкина на счету перед поединком с Дантесом?! Называют разные цифры. Считается, что вызовов, не всегда, правда, оканчивавшихся поединками, было свыше двадцати, называют даже цифру – 35. И все ведь завершались благополучно, потому что возникали не как заговор. К тому же те, с кем вздорил Пушкин, не были заказными, наёмными убийцами, каковым оказался залётный проходимец Дантес.

Прежде чем рассказать о неравном поединке – поединке, устроенном так, что у Пушкина не оставалось никаких шансов выйти из него живым, а у Дантеса был лишь незначительный риск получить рану, остановимся, во-первых, на дуэлях, в которых участвовал Пушкин, а во-вторых, на причинах убийства. Постараемся ответить на вопрос, почему с такой старательностью готовилось убийство русского гения врагами и его, и России, и государя императора Николая Павловича.

«...Саша среди бала вызвал Павла Ганнибала»

Исследователи, как уже говорилось, посчитали, что в жизни Пушкина было 35 случаев, когда ссоры могли закончиться или заканчивались дуэлями. Пушкин посылал вызовы 26 раз, его вызывали 7 раз, ну и два раза были дуэльные ситуации, инициаторов которых установить не удалось. Пять раз Пушкин выдерживал выстрелы своих дуэльных противников и три раза стрелял сам.

Конечно, цифры могут удивить, но удивляться подождём. Таково было время. Знаменитый русский философ Николай Николаевич Страхов (1828–1896) о дуэлях и их причинах писал следующее:

«Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один волосичек, погнёт ли на плече сукно, так милости просим в поле. Так же глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не отвечал или недовидел поклона... статошное ли дело! Тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка!...»

Так что сказанное о дуэлях Пушкина – всего лишь сухие цифры. За каждой из них скрываются истории, на которых, учитывая тему книги, необходимо остановиться более подробно, чтобы выяснить, что же это были за вызовы и по каким причинам многие из них разрешались мирным путём.

Свой первый вызов Александр Пушкин послал в свои 17 лет и не к кому-нибудь, а своему дяде.

Это связано с самым первым приездом в Михайловское, о котором сам Александр Сергеевич вспоминал:

«Вышед из Лицея я почти тотчас уехал в псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу...»

Так вот в тот первый приезд он не поделил со своим дядей Павлом Исааковичем Ганнибалом какую-то местную красавицу – девицу Лошакову.

Лошакова, в которую он был влюблён, на балу предпочла танцевать с Ганнибалом. Пушкин приревновал и вызвал дядю на дуэль.

Можно себе представить ситуацию, в которой оказался дядя. Дуэль – не шутка. Это не пикировки на вечеринке. Как быть? Убить племянника? Невозможно! Выстрелить в воздух или заведомо промахнуться? Но как знать, что будет делать племянник? А если сразит в упор! Тогда ведь никто ещё не знал, что Пушкин неизменно, во всех поединках, которые доходили до стрельбы, выдерживал выстрел противника, а затем сам стрелял в воздух, поскольку при его необыкновенной меткости противник неминуемо был бы сражён насмерть.

К счастью, в окружении и дяди, и племянника нашлось немало здравых людей. Занялись делом быстро и горячо, ну и добились примирения между не такими уж заклятыми противниками.

Дядя Пушкина тут же написал четверостишие по поводу благополучного завершения ссоры...

Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Не подгадит ссорой бал!

О девице Лошаковой практически ничего не известно. Даже непонятно, оставила ли любовь, озарившая Пушкина, следы в его творчестве.

Вызов за «молитву лейб-гусарских офицеров»

Очередное приглашение к поединку не заставило себя долго ждать....

1817 год был для Пушкина годом особым. Выпуск из Царскосельского Императорского лицея – это ли не событие, это ли не праздник?!

Причиной ссоры было шутливое стихотворение Пушкина «Молитва лейб-гусарских офицеров».

Избави Господи ума такого,
Как у Александра Васильевича Попова,
Слатвинского скромности,
Зубова томности,
Ильина чистоты,
Тютчева красоты,
Любомирского чванства,
Каверина пьянства,
Гротовой скупости,
Хов-на глупости,
Суетливости Оффенберга,
Рассудительности Унгерн-Штернберга,
Чаадаева гордости,
Юш-ва подлости,
Креншина службы,
Сабурова дружбы,
Завадовского щедрости,
Гернгр-вой мерзости,
Кнабенау усов,
Пашковских носов,
Салтыкова дикости,
Саломирского лихости,
Слепцова смиренья,
Крутикова пенья,
Барятинского спросов,
Рахманова вопросов,
Молоствова хвалы
И Микешина килы.

Как видим, список длинный, ну и, надо полагать, Пушкин точно подметил какие-то особые качества каждого из упомянутых им гусар. Кто-то воспринял эпиграмму спокойно, а кто-то был взбешён. Особенно обижен и возмущен был Андрей Иванович Пашков (1792–1850), который был старше Пушкина и не раз отличился в битвах 1812 года. Впоследствии он дослужился до чина генерал-майора. Его поддержал Пётр Павлович Каверин (1794–1855), тоже закалённый воин, участникграничных походов 1813–1815 годов.

Ситуацию пытался поправить Александр Петрович Завадовский, сын одного из генерал-адъютантов Екатерины Великой. Он, будучи сослуживцем Пушкина по Коллегии иностранных дел и его приятелем, решил взять на себя вину, чтобы постараться избежать дуэли, к которой клонилось дело. Стихотворение быстро распространилось по полку, и число недо-

вольных множилось. И только вмешательство начальства позволило примирить всех, кроме Каверина.

Лишь стихотворение Пушкина заставило и его сменить гнев на милость...

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи...

Написал Пушкин и несколько строк «К портрету Каверина»:

В нём пунша и войны кипит
всегдашний жар,
На Марсовых полях он грозный
был воитель,
Друзьям он верный друг,
красавицам мучитель,
И всюду он гусар.

После всего этого наконец примирение состоялось окончательно. Мало того, Пушкин упомянул своего приятеля в романе «Евгений Онегин», в главе первой...

XVI

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» – раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждёт его Каверин.
Вошёл: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Стразбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым...

Дуэль из-за «Кюхельбекерно и тошно»

А вот в 1818 году дуэль состоялась. И с кем! С лицейским товарищем Пушкина поэтом и прозаиком Вильгельмом Карловичем Кюхельбекером (1797–1846).

Пушкин любил Вильгельма, но постоянно над ним подшучивал. Иван Иванович Пущин рассказал об одной из таких шуток в своих «Воспоминаниях о Пушкине»:

«...Нельзя не вспомнить сцены, когда Пушкин читал нам своих “Пирующих студентов”. Он был в лазарете и пригласил нас прослушать эту пиесу. После вечернего чая мы пошли к нему гурьбой с гувернером Чириковым.

Началось чтение:

Друзья! Досужий час настал,
Всё тихо, всё в покое... – и проч.

Внимание общее, тишина глубокая по временам только прерывается восклицаниями. Кюхельбекер просил не мешать, он был весь тут, в полном упоении... Доходит дело до последней строфы. Мы слушаем:

Писатель! за свои грехи
Ты с виду всех трезвее:
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.

При этом возгласе публика забывает поэта, стихи его, бросается на бедного метромана, который, растаявши под влиянием поэзии Пушкина, приходит в совершенное одурение от неожиданной эпиграммы и нашего дикого натиска. Добрая душа был этот Кюхель! Опомнившись, просит он Пушкина ещё раз прочесть, потому что и тогда уже плохо слышал одним ухом, испорченным золотухой.

Послание ко мне:
Любезный именинник... – и проч. –

не требует пояснений. Оно выражает то же чувство, которое отрадно проявляется во многих других стихах Пушкина. Мы с ним постоянно были в дружбе, хотя в иных случаях розно смотрели на людей и вещи; откровенно сообщая друг другу противоречащие наши воззрения, мы всё-таки умели их сгармонизировать и оставались в постоянном согласии. Кстати тут расскажу довольно оригинальное событие, по случаю которого пришлось мне много спорить с ним за Энгельгардта...»

Известно, с какой любовью, с каким уважением относился к Пушкину знаменитый поэт Жуковский, который даже считал себя учителем юного поэта. Но именно он стал невольным виновником теперь уже не вызова и примирения, а именно дуэли.

Иван Пущин продолжал рассказ:

«Следующая эпиграмма уже окончательно вывела из себя Кюхельбекера. Разумеется, не желая подобного исхода, поэт Василий Андреевич Жуковский, пропустив вечер встречи с лицеистами, объяснил это Пушкину тем, что “накануне расстроил себе желудок”. А затем возьми да и скажи:

– К тому же пришёл Кюхельбекер, притом Яков дверь запер по оплошности и ушёл». Яков был слугой Жуковского.

Ну разве ж Пушкин мог пропустить такой повод для шутки. Но уж тут он немного перестарался и написал строки, известные нам, кстати, со школьной скамьи...

За ужином объелся я.
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.

Кюхельбекер вызвал обидчика на дуэль.

Николай Иванович Греч рассказал о том, что дуэль прошла по всем правилам и только по случайности не окончилась кровью.

Поединок был назначен на Волковом поле, в каком-то недостроенном склепе. Пушкин, по свидетельству приятелей, уже переживал, что принудил своего приятеля к вызову. Но по законам того времени отказ от поединка был невозможен – это позор.

Всё выглядело несколько нелепо. Секундантом Кюхельбекера был близкий друг Пушкина Дельвиг – Барон Антон Антонович Дельвиг (1798–1831), впоследствии знаменитый поэт и издатель...

И вот определили условия, зарядили пистолеты. Кюхельбекеру, как обиженному, предоставили право первого выстрела.

Николай Иванович Греч рассказал о дальнейшем.

«Когда Кюхельбекер поднял свой пистолет и стал целиться, Пушкин насмешливо крикнул:

– Дельвиг! стань на мое место, здесь безопаснее».

Но уж это нечто иное, как приглашение к выстрелу. Много лет спустя, когда убийцы Лермонтова выдумывали ход и исход дуэли, якобы бывшей на Машуке, но которой в природе не было, они вкладывали в уста Михаила Юрьевича дерзкие и обидные слова. Мол, Мартынов не виноват. Его Лермонтов чуть ли не принудил к убийству.

Разумеется, насмешка Пушкина ещё более распалила Кюхельбекера, но он, сделав «пол-оборота, пробил пулей фуражку Дельвига».

Николай Иванович Греч в «Воспоминаниях старика» привёл резюме Пушкина:

«– Послушай, товарищ, без лести – ты стоишь дружбы; без эпиграммы – пороку не стоишь.

Пушкин бросил пистолет и хотел обнять Кюхлю, но тот неистово кричал:

– Стреляй, стреляй!

Насилу его убедили, что невозможно стрелять, ибо снег набился в ствол», – сообщил Греч.

Пушкин, безусловно, был не робкого десятка. Это отмечали те, кто видел, как он стоял под дулом пистолета. Но и дерзок. Причём он словно испытывал судьбу.

Следующий вызов он послал по поводу, который его мнимый противник поводом к дуэли не счёл. Соседом Пушкина был его однокашник по лицею барон Модест Андреевич Корф (1800–1876), впоследствии – в 1849–1861 годах – директор Императорской публичной библиотеки.

Однажды слуга Пушкина Козлов изрядно выпил и по ошибке зашёл в дом Корфа. В прихожей его остановил камердинер барона, но Козлов оттолкнул его, за что Корф, вышедший на шум, несколько раз ударил пьяницу и вытолкнул его из дому.

Пушкин обиделся за то, что Корф побил его слугу, и послал вызов, на что получил остроумный ответ:

– Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы не потому, что вы Пушкин, а потому, что я не Кюхельбекер.

Пушкин успокоился. Настаивать на дуэли посчитал нецелесообразным.

Иван Лажечников: «Тогда я совершил великое дело»

Следующий вызов снова поступил от Пушкина, причём вызывал Александр Сергеевич на дуэль заслуженного ветерана майора Денисевича.

Об этом очень подробно и интересно поведал знаменитый наш писатель-историк Иван Иванович Лажечников (1792–1869), который по праву считается одним из «зачинателей русского исторического романа».

Так вот Иван Иванович писал:

«В августе 1819 года приехал я в Петербург и остановился в доме графа Остермана-Толстого, при котором находился адъютантом. Дом этот на Английской набережной, недалеко от Сената.

...Жизнь моя в Петербурге проходила в глубоком уединении. В театр ездил я редко. Хотя имел годовой билет моего генерала, отданный в полное мое владение, я передавал его иногда Н. И. Гречу.

“Кого это пускаешь ты в мои кресла?” – спросил меня однажды граф Остерман-Толстой с видимым неудовольствием. Я объяснил ему, что уступаю их известному литератору и журналисту. “А, если так, – сказал граф, – можешь и вперёд отдавать ему мои кресла”. Говорю об этом случае для того только, чтобы показать, как вельможи тогдашние уважали литераторов.

Со многими из писателей того времени, более или менее известных, знаком я был до приезда моего в Петербург...

(...)

Но я ещё нигде не успел видеть молодого Пушкина, издавшего уже в зиму 1819/20 года “Руслана и Людмилу”, Пушкина, которого мелкие стихотворения, наскоро на лоскутках бумаги, карандашом переписанные, разлетались в несколько часов огненными струями во все концы Петербурга и в несколько дней Петербургом вытверживались наизусть, – Пушкина, которого слава росла не по дням, а по часам. Между тем я был один из восторженных его поклонников».

Тут важно, конечно, отметить, что Пушкина знали, уважали и любили люди, принадлежавшие к культурному слою русского общества. Будущий автор «Ледяного дома» и других замечательных исторических романов, конечно, смог оценить талант молодого поэта. Но опасность конфликта, свидетелем которого стал романист, была именно в том, что противник у Пушкина хоть и был заслуженным ветераном, но ничего не читал, за исключением «Бедной Лизы» Карамзина. То есть о Пушкине он даже не слышал.

И. И. Лажечников рассказал о том, какая беда едва не произошла в результате ссоры...

«Следующий необыкновенный случай доставил мне его знакомство.

...Квартира моя в доме графа Остермана-Толстого выходила на Галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему за несколько дней до того времени, которое описываю, майору Денисевичу, служившему в штабе, которым командовал граф. Денисевич был малоросс, учился, как говорят, на медные деньги и образован по весу и цене металла. Наружность его соответствовала внутренним качествам: он был очень плешив и до крайности румян; последним достоинством он очень занимался и через него считал себя неотразимым победителем женских сердец. Игрою густых своих эполетов особенно щеголял, полагая, что от блеска их, как от лучей солнечных, разливается свет на все, его окружающее, и едва ли не на весь город.

Мы прозвали его дятлом, на которого он, и наружно, и привычками был похож, потому что без всякой надобности долбил своим подчиненным десять раз одно и то же.

...К театру был пристрастен, и более всего любил воздушные пируэты в балетах; но не имел много случаев быть в столичных театрах, потому что жизнь свою провёл большей частью

в провинциях. Любил он также покушать. Впрочем, был добрый малый. Моё товарищество с ним ограничивалось служебными обязанностями и невольным сближением по квартире.

В одно прекрасное зимнее утро – было ровно три четверти восьмого, – только что успев окончить свой военный туалет, я вошёл в соседнюю комнату, где обитал мой майор, чтоб приказать подавать чай. Денисевича не было в это время дома; он уходил смотреть, все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, из передней вошли в неё три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями. Один был адъютант; помнится, я видел его прежде в обществе любителей просвещения и благотворения; другой – фронтовой офицер.

Статский подошел ко мне и сказал мне тихим, вкрадчивым голосом: “Позвольте вас спросить, здесь живет Денисевич?” – “Здесь, – отвечал я, – но он вышел куда-то, и я велю сейчас позвать его”. Я только хотел это исполнить, как вошёл сам Денисевич. При взгляде на воинственных ассистентов статского посетителя он, видимо, смутился, но вскоре оправился и принял также марциальную осанку.

– Что вам угодно? – сказал он статскому довольно сухо.

– Вы это должны хорошо знать, – отвечал статский, – вы назначили мне быть у вас в восемь часов (тут он вынул часы); до восьми остаётся ещё четверть часа. Мы имеем время выбрать оружие и назначить место...

Всё это было сказано тихим, спокойным голосом, как будто дело шло о назначении приятельской пирушки. Денисевич мой покраснел как рак и, запутываясь в словах, отвечал:

– Я не затем звал вас к себе... я хотел вам сказать, что молодому человеку, как вы, нехорошо кричать в театре, мешать своим соседям слушать пиесу, что это неприлично...

– Вы эти наставления читали мне вчера при многих слушателях, – сказал более энергическим голосом статский, – я уж не школьник и пришёл переговорить с вами иначе. Для этого не нужно много слов: вот мои два секунданта; этот господин военный (тут указал он на меня), он не откажется, конечно, быть вашим свидетелем. Если вам угодно...

Денисевич не дал ему договорить.

– Я не могу с вами драться, – сказал он, – вы молодой человек, неизвестный, а я штаб-офицер...

При этом оба офицера засмеялись; я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой.

Статский продолжал твёрдым голосом:

– Я русский дворянин, Пушкин: это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мной дело.

При имени Пушкина блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корифей всей образованной молодежи Петербурга, и я спешил спросить его:

– Не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою?

– Меня так зовут, – сказал он, улыбаясь.

“Пушкину, – подумал я, – Пушкину, автору “Руслана и Людмилы”, автору столько прекрасных мелких стихотворений, которые мы так восторженно затвердили, будущей надежде России, погибнуть от руки какого-нибудь Денисевича; или убить какого-нибудь Денисевича и жестоко пострадать... нет, этому не быть! Во что б ни стало, устрою мировую, хотя б и пришлось немного покривить душой”.

– В таком случае, – сказал я по-французски, чтобы не понял нашего разговора Денисевич, который не знал этого языка, – позвольте мне принять живое участие в вашем деле с этим господином и потому прошу вас объяснить мне причину вашей ссоры.

Тут один из ассистентов рассказал мне, что Пушкин накануне был в театре, где, на беду, судьба посадила его рядом с Денисевичем. Играли пустую пиесу, играли, может быть, и дурно. Пушкин зевал, шикал, говорил громко: “Несносно!” Соседу его пиеса, по-видимому, очень нравилась. Сначала он молчал, потом, выведенный из терпения, сказал Пушкину, что он мешает ему слушать пиесу. Пушкин искоса взглянул на него и принялся шуметь по-прежнему. Тут Денисевич объявил своему неугомонному соседу, что попросит полицию вывести его из театра.

– Посмотрим, – отвечал хладнокровно Пушкин и продолжал повесничать.

Спектакль кончился, зрители начали расходиться. Тем и должна была бы кончиться ссора наших противников. Но мой витязь не терял из виду своего незначительного соседа и остановился в коридоре.

– Молодой человек, – сказал он, обращаясь к Пушкину, и вместе с этим поднял свой указательный палец, – вы мешали мне слушать пиесу... это неприлично, это невежливо.

– Да, я не старик, – отвечал Пушкин, – но, господин штаб-офицер, ещё невежливее здесь и с таким жестом говорить мне это. Где вы живете?

Денисевич сказал свой адрес и назначил приехать к нему в восемь часов утра. Не были ли это настоящий вызов?..

– Буду, – отвечал Пушкин. Офицеры разных полков, услышав эти переговоры, обступили было противников; сделался шум в коридоре, но, по слову Пушкина, всё затихло, и спорившие разошлись без дальнейших приключений.

Вы видите, что ассистент Пушкина не скрыл и его вины, объяснив мне вину его противника. Вот этот-то узел предстояло мне развязать, сберегая между тем голову и честь Пушкина.

– Позвольте переговорить с этим господином в другой комнате, – сказал я военным посетителям. Они кивнули мне в знак согласия. Когда я остался вдвоём с Денисевичем, я спросил его, так ли было дело в театре, как рассказал мне один из офицеров. Он отвечал, что дело было так. Тогда я начал доказывать ему всю необдуманность его поступков; представил ему, что он сам был кругом виноват, затеяв вновь ссору с молодым, неизвестным ему человеком, при выходе из театра, когда эта ссора кончилась ничем; говорил ему, как дерзка была его угроза пальцем и глупы его наставления, и что, сделав формальный вызов, чего он, конечно, не понял, надо было или драться, или извиниться.

Я прибавил, что Пушкин сын знатного человека (что он известный поэт, этому господину было бы нипочем). Все убеждения мои сопровождал я описанием ужасных последствий этой истории, если она разом не будет порешена.

– В противном случае, – сказал я, – иду сейчас к генералу нашему, тогда... ты знаешь его: он шутить не любит.

Признаюсь, я потратил ораторского пороку довольно, и недаром. Денисевич убедился, что он виноват, и согласился просить извинения. Тут, не дав опомниться майору, я ввёл его в комнату, где ждали нас Пушкин и его ассистенты, и сказал ему:

– Господин Денисевич считает себя виноватым перед вами, Александр Сергеевич, и в опрометчивом движении, и в необдуманных словах при выходе из театра; он не имел намерения ими оскорбить вас.

– Надеюсь, это подтвердит сам господин Денисевич, – сказал Пушкин.

Денисевич извинился... и протянул было Пушкину руку, но тот не подал ему своей, сказав только:

– Извиняю, – и удалился со своими спутниками, которые очень любезно простились со мною.

Скажу откровенно, подвиг мой испортил мне много крови в этот день... Но теперь, когда прошло тому тридцать шесть лет, я доволен, я счастлив, что на долю мою пришлось совершить его. Если б я не был такой жаркий поклонник поэта, уже и тогда предрекавшего свое будущее величие; если б на месте моем был другой, не столь мягкосердый служитель муз, а черствый, браннолюбивый воин, который, вместо того чтобы потушить пламя раздора, старался бы ещё более раздуть его; если б я повёл дело иначе, перешёл только через двор к одному лицу, может быть, Пушкина не стало б ещё в конце 1819 года, и мы не имели бы тех великих произведений, которыми он подарил нас впоследствии. Да, я доволен своим делом, хорошо или дурно оно было исполнено. И я ныне могу сказать, как старый капрал Беранже: “Puis, moi, j’ai servi le grand homme!” (Прим. ред. – дословно с фр. “Тогда я служил великим человеком!” Возможен также смысловой перевод, как “Тогда я совершил великое дело”).

Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и Денисевича я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у Денисевича в театрах с военными, вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились тем, что мой майор ускорил скоро из Петербурга.

Через несколько дней увидел я Пушкина в театре: он первый подал мне руку, улыбаясь. Тут я поздравил его с успехом “Руслана и Людмилы”, на что он отвечал мне:

– О! это первые грехи моей молодости!

– Сделайте одолжение, вводите нас чаще такими грехами в искушение, – отвечал я ему.

По выходе в свет моего “Новика” и “Ледяного дома”, когда Пушкин был в апогее своей славы, спешил я послать к нему оба романа, в знак моего уважения к его высокому таланту. Приятель мой, которому я поручал передать ему “Новика”, писал ко мне по этому случаю 19 сентября 1832 года:

“Благодарю вас за случай, который вы мне доставили, увидеть Пушкина. Он оставил самые приятные следы в моей памяти. С любопытством смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забиякой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая с ним, замечаешь, что у него есть тайна – его прелестный ум и знания. Ни блесок, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поговора с ним, только скажешь: “Он умный человек. Такая скромность ему прилична”».

Я не случайно привёл столь длинную цитату. Иван Иванович Лажечников в своём повествовании особо отметил, что пришёл в ужас от одной мысли, что талантливый поэт мог быть убит неучем, даже не слышавшим о шедеврах русской поэзии. Любителем заурядных спектаклей. Ведь Пушкин высмеивал в театре серость, которую смотреть было невозможно. Впрочем, он впоследствии признал, что вёл себя в театре неправильно. В письме к князю Петру Андреевичу Вяземскому признался, что его поведение напоминает одну из «мальчишеских проказ, которые повторять не следует».

Дуэль с майором Денисевичем вполне могла стоить Пушкину жизни. Недаром Иван Иванович Лажечников, предотвративший её, в своей характеристики отметил, что Денисевич вряд ли что-то читал, кроме карамзинской «Бедной Лизы», ну и ещё каких-то произведений этого, случайно известного ему автора. Театр Денисевич знал и любил, чего нельзя сказать о литературе. То есть Денисевич стремился бы убить противника...

А ведь многих противников останавливало именно понимание того, кем являлся Пушкин. Мы увидим подтверждение этих слов в дальнейшем повествовании.

Сплетник Рылеев в Пушкина стрелял всерьёз

Были и такие фокусы. Сам оскорбил, сам и убить старался...

Пока с дуэлями всё обходилось. Но вот Пушкин стал жертвой клеветы будущего декабриста Рылеева, распускавшего слухи о том, что Александра Сергеевича высекли розгами в III отделении. Причём намечались сразу два поединка, один из которых – с очень жестоким дуэлянтом, уже отправившим на тот свет свыше десяти человек. Называли цифру – одиннадцать.

Первым из противников был Кондратий Рылеев, вторым – граф Пётр Толстой.

Наиболее опасным противником был Толстой... О нём, как о дуэлянте, ходили целые легенды. К примеру, однажды кто-то из близких друзей пригласил Толстого в секунданты. Толстой дорожил этим своим другом и переживал, понимая, что шансов у того выжить весьма немного. Тогда он ещё до дуэли друга вызвал сам его противника и убил его, чем и обеспечил спасения от гибели.

Называть убийцей дуэлянта, отправившего на тот свет одиннадцать человек, мы едва ли имеем право, поскольку таковы были нравы, он – Толстой – на дуэлях вёл себя честно, не так, как вели себя подленькие и трусливые европейские рыцари, подобные Дантесу. Ну а что касается дуэлей вообще, то ведь и Пушкин уделял таковым поединкам немало внимания, правда, он никого не убил и, как правило, разряжал свой пистолет в воздух, правда, перед тем выдерживал выстрел своего противника.

Причина же конфликта с Рылеевым и Толстым была, особенно по тем временам, очень и очень весомой. Пушкин вынужден был защищать свою честь и достоинство от низкой клеветы, авторами которой были Толстой и Рылеев. Рылеев, к тому же, явился старательным разносчиком омерзительных выдумок о Пушкине по литературным салонам. Что им руководило? Скорее всего – банальная зависть. Ведь Рылеев тоже слагал рифмы.

И тот, и другой имели причины ненавидеть Пушкина. Заядлый картёжник Толстой неоднократно был уличён Пушкиным в шулерстве. Толстой особенно и не оправдывался, скорее даже признавал, что игру ведёт нечестно...

А. Н. Вульф, добрый приятель Пушкина, с которым тот подружился в соседнем с Михайловским Тригорском во время своей ссылки, вспоминал:

«Между прочим, надо и то сказать, что Пушкин готовился одно время стреляться с известным, так называемым американцем Толстым... Где-то в Москве Пушкин встретился с Толстым за карточным столом. Была игра. Толстой передернул. Пушкин заметил ему это. “Да, я сам это знаю, – отвечал ему Толстой, – но не люблю, чтобы мне это замечали”. Вследствие этого Пушкин намеревался стреляться с Толстым и вот, готовясь к этой дуэли, упражнялся со мною в стрельбе».

Фаддей Булгарин так охарактеризовал Толстого:

«Умён он был, как демон, и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним трудно было спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для друга готов был на всё, охотно помогал приятелям, но и друзьям, и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сражение, он не знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевести его деньги в свой карман, у того и он имеет право выигрывать».

Пушкин написал эпigramму:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружён,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,

Он загладил свой позор,
И теперь он – слава богу –
Только что картежный вор.

И не только... В послании «Чаадаеву», именно «Чаадаеву», а не «К Чаадаеву», Пушкин вывел графа Толстого весьма узнаваемо...

(...)

Но дружбы нет со мной. Печальный вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музыки, ни труды, ни радости досуга –
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный Судьбою,
И чувства – может быть спасённые тобою!
Ты сердце знал моё во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомлённый;
В минуту гибели над бездной потаённой
Ты поддержал меня недремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял её советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды <при> звезде,
Или философа, который в прежнее лета
Развратом изумил четыре части света,
Но просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?
Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетаньи дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Благодарю богов: прошел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалю я привык, расчёлся я с Судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.

Стихотворение датировано 20 апреля 1821 года. Напечатано же было лишь в № 35 журнала «Сын Отечества» за 1824 год.

Обратите внимание на строки:

Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картёжный вор?

Пушкин отдавал должное уму и храбрости Толстого. Но прощать обиду не собирался. Хотя, справедливости ради, не позволил издателям поменять его слова «или философа» на «глупца философа».

Издателям он написал:

«Там напечатано глупца философа; зачем глупца? стихи относятся к Американцу Толстому, который вовсе не глупец».

Ну и тем самым признал, кому адресован это жёсткий выпад.

Досталось графу Фёдору Толстому и от Александра Сергеевича Грибоедова. В своём бесмертном «Горе от ума», которое до издания распространялось в списках, Грибоедов отозвался о графе весьма нелестно:

Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.
Вот люди, есть ли им подобные? Навряд...
Ну, между ими я, конечно, зауряд,
Немножко поотстал, ленив, подумать ужас!
Однако ж я, когда, умишком понатужась,
Засяду, часу не сижу,
И как-то невзначай, вдруг каламбур рожу.
Другие у меня мысль эту же подцепят,
И вшестером, глядь, водевильчик слепят,
Другие шестеро на музыку кладут,
Другие хлопают, когда его дают.
Брат, смейся, а что любо, любо:
Способностями бог меня не наградил,
Дал сердце доброе, вот чем я людям мил,
Совру – простят...

Фёдор Иванович Толстой на одном из списков сделал правку:

Фразу «В Камчатку сослан был» заменил на «В Камчатку чёрт носил», пояснив, что его туда никогда не ссылали. Ну и не понравилась ему фраза «и крепко на руку нечист». Он поправил: «в картишках на руку нечист», тоже снабдив пояснением: «Для верности портрета сия поправка необходима, чтоб не подумали, что ворует табакерки со стола».

Он высказал неудовольствие самому Грибоедову. На что автор «Горе от ума» заявил:

– Но ты же играешь нечисто.

Граф не согласился и сказал:

– Только-то? Ну, ты так бы и написал.

Толстой побывал на одной из первых постановок «Горя от ума». Это произвело в зале оживление. Зрители собрались, знакомые с произведением. Кто в списках читал, а кто уже и в книге.

И вот дело дошло до сцены, в которой герой Репетилов произнёс монолог. Граф встал и своим громовым голосом объявил:

– Взяток, ей-богу, не брал, потому что не служил!

Зал взорвался аплодисментами.

Граф Фёдор Толстой был знаменит не только шулерством, но и своими амурными победами, по причине которых и сам нередко подвергался нападкам сплетников. И вдруг, неожиданно для всех в январе 1821 года он женился на танцовщице Авдотье Максимовне Тугаевой (1796–1861). Общество было удивлено, ведь Тугаева была цыганкой. Любовные отношения с Тугаевой были у него давно, но это для общества не внове.

Дочь художника графа Фёдора Петровича от первого брака с Анной Фёдоровной Дудиной (1792–1835), писательница Марья Фёдоровна Каменская (1817–1898), рассказала о женитьбе графа Фёдора Толстого следующее:

«Раз, проиграв большую сумму в Английском клубе, он должен был быть выставлен на чёрную доску за неплатёж проигрыша в срок. Он не хотел пережить этого позора и решил застрелиться. Его цыганка, видя его возбуждённое состояние, стала его выпрашивать.

– Что ты лезешь ко мне? – говорил Ф. И. Толстой. – Чем ты мне можешь помочь? Выставят меня на чёрную доску, и я этого не переживу. Убейся.

Авдотья Максимовна не отстала от него, узнала, сколько ему нужно было денег, и на другое утро привезла ему потребную сумму.

– Откуда у тебя деньги? – удивился Федор Иванович.

– От тебя же. Мало ты мне дарил?! Я все прятала. Теперь возьми их, они – твои.

Граф расчувствовался и обвенчался на своей цыганке».

Впрочем, к дуэли вело вовсе не это обстоятельство, а именно низкое пасквильничество Толстого.

Возможно, желая отомстить Пушкину за разоблачение, Толстой пустил слух, что Пушкин перед отправкой в южную командировку, в Кишинёв, в распоряжение генерала Инзова, был подвергнут телесному наказанию в Третьем отделении – его попросту высекли.

Это было ложью, но, благодаря Кондратию Рылееву, так называемому поэту – Пушкин называл его планщиком – и будущему государственному преступнику, казнённому после разгрома путча декабристов, ложь Толстого достигла литературных салонов.

Рылеев со страстью, присущей сплетникам «хуже всякой бабы», рассказывал о наказании Пушкина, развивая и дополняя то, что кратко, по-военному, рубанул сгоряча Толстой:

«Пушкина высекли в Тайной Канцелярии за оскорбление Государя в стихах».

Возмущённый Пушкин не находил себе места. У него, человека жизнерадостного, отважного, стойкого, появились, по его же признанию, мысли о самоубийстве, которые переходили в размышления об убийстве царя.

В бумагах Пушкина было найдено письмо, которое тот писал уже в 1825 году государю, признаваясь в своих мыслях. До ухода императора Александра с престола и путча декабристов оставалось всего несколько месяцев.

В черновике рукой Александра Сергеевича Пушкина было написано следующее:

«Необдуманные речи, сатирические стихи [обратили на меня внимание в обществе], распространились сплетни, будто я был отвезён в тайную канцелярию и высечен.

До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении, я впал в отчаяние, дрался на дуэли – мне было 20 лет в 1820 (году) – я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить Ваше Величество.

В первом случае я только подтвердил бы сплетни, меня бесчестившие, во втором – я не отомстил бы за себя, потому что оскорбления не было, я совершил бы преступление, я принёс бы в жертву мнению света, которое я презираю, человека, от которого зависело всё и дарования, которого невольно внушали мне почтение.

Таковы были мои размышления. Я поделился ими с одним другом, и он вполне согласился со мной. Он посоветовал мне предпринять шаги перед властями в целях реабилитации – я чувствовал бесполезность этого.

Я решил тогда вкладывать в свои речи и писания столько неприличия, столько дерзости, что власть вынуждена была бы наконец отнестись ко мне, как к преступнику; я надеялся на Сибирь или на крепость, как на средство к восстановлению чести.

Великодушный и мягкий образ действий власти глубоко тронул меня и с корнем вырвал смешную клевету.

С тех пор, вплоть до самой моей ссылки, если иной раз и вырывались у меня жалобы на установленный порядок, если иногда и предавался я юношеским разглагольствованиям, всё же могу утверждать, что, как в моих писаниях, так и в разговорах, я всегда проявлял уважение к особе Вашего Величества».

Письмо датировано: июль – сентябрь 1825 г.

Ну а событие, о котором идёт речь, произошло в 1820 году, когда у Пушкина уже появились серьёзные публикации, когда он начал разработку романа в стихах «Евгений Онегин».

Пушкин вызвал на дуэль Рылеева. Не мог утерпеть. По условиям дуэли стреляться должны были с 15 шагов. До барьера каждый дуэлянт должен был пройти по 10 шагов.

Известно, что Пушкин никогда не стрелял первым. Его считали заговорённым, что отчасти соответствовало действительности. Хладнокровие Александра Сергеевича бесило и будоражило Рылеева. По поведению было видно, что будущий государственный преступник и враг России серьёзно задумал убить Пушкина. Но он наверняка знал и то, насколько подготовлен к стрельбе его противник – Пушкин.

И вот команда «Сходитесь!»

Рылеев нервничал и торопился. Он первым подошёл к барьеру, поднял пистолет и выстрелил в Пушкина. Лишь пуля просвистела, Пушкин поднял, чтобы произвести ответный выстрел. Прицелился... И вдруг, как он впоследствии вспоминал, почувствовал, что прошла злость к Рылееву.

Да, перед ним был низкий пасквилянт, сплетник «хуже старой бабы». Но Пушкин потому и был Пушкиным – «нашим всё», что с молодых лет неизмеримо возвышался над всяким мусором, над всяким отребьем человечества.

Рылеев ещё до дуэли, на всякий случай, поспешил оправдаться. Он уверял, что главным сочинителем был Толстой, а он лишь поверил ему, а потому понёс пасквиль дальше. Конечно, он пытался всё свести к безобидной шутке, пояснял, что не подумал о том, какой резонанс может привести тиражирование выдумки.

Минуты Рылеева были сочтены, но летели они, эти минуты, а Пушкин не стрелял. К тому же Пушкину, словно высший глас был: «Гений и злодейство – несовместны».

И вот юный Александр Сергеевич поднял пистолет и выстрелил в воздух.

Подбежали старый верный слуга, секунданты. Все были поражены поступком поэта. Рылеев был пощаждён. Рылеевы, как говорится в Википедии, «дворянский род, восходящий к середине XVI в. Фамилия Рылеев предположительно происходит от прозвища Рылей, не записанного нигде. Вполне возможно, фамилия происходит от слова “рыло”...».

24 марта 1825 г. Пушкин писал Александру Бестужеву из Михайловского в Петербург: «Откуда ты взял, что я лыщу Рылееву?..

Я опасаюсь его не на шутку и жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай – да чёрт его знал...»

Да, Рылеев, хоть и на словах осознал свою вину, тем не менее выстрелил не вверх, не в воздух – он метил в Пушкина, стремясь его убить.

Вот так завершились две дуэли, исход которых мог быть плачевным. В первом случае положение спас Иван Иванович Лажечников. И ведь представьте, тогда Пушкин был ещё далеко не тем Пушкиным, что в 1837 году. Солнце Русской поэзии только лишь восходило. Но Лажечников сделал всё, чтобы предотвратить дуэль. А вот Данзас не пожелал предотвратить беду. И сколько стенаний по поводу несчастной участи свидетеля жестокого и коварного убийства!

Удивительно, что и руку будущего государственного преступника Рылеева никто не пытался остановить. Рылеев, поливавший грязью Пушкина в литературных салонах, скабрёзно повествовавший о том, как поэта высекли в Третьем отделении, подошёл к дуэли серьёзно, и, повторю ещё раз – стрелял не в воздух, а в Пушкина. Просто промахнулся. Промех – не его милосердие. Промех есть промах. А ведь в школьных учебниках советского периода, когда декабристов превозносили, пытаясь сделать их буревестниками революции семнадцатого года, даже не упоминалось о пошлых сплетнях Рылеева, за которые Пушкин просто не мог не потребовать удовлетворения. Ну и тем более не упоминается о том, что Рылеев – уж если декабристов звать буревестниками – вполне подходит на роль буревестника Дантеса.

Просто Дантеса тщательно готовили слуги тёмных сил, а Рылеев стрелял, потому что, в отличие от Дантеса, если перефразировать слова Лермонтова – «мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал». И как, мягко говоря, уступающий в мастерстве и таланте поэт, завидовал...

И он вполне готов был убить Пушкина. А вот Пушкин, выдержав удар, который прошёл мимо, выстрелил в воздух, пощадив Рылеева. Именно пощадив, поскольку уж Пушкин-то не промахнулся бы.

Тут нужно уточнить ещё один момент. В ту пору Пушкин ещё не проявил себя как соратник государя императора Николая Павловича, как союзник его на самодержавном пути. Слуги тёмных сил Запада пока ещё полагали Пушкина в своих рядах, а потому были равнодушны к исходу дуэли.

Толстой не хотел стрелять в Пушкина

Граф Фёдор Толстой, человек, которого никто не мог заподозрить в трусости, храбрец, легко выходивший на поединки и дерзко глядевший в дула пистолетов, знал, что Пушкин собирается вызвать его на дуэль после своего возвращения из ссылки, и уклонялся от встреч с поэтом, поскольку прекрасно понимал, что перед ним не обычный противник, что убийство Пушкина далеко не лучшим образом отразится на его репутации. Некоторые биографы полагают, что Толстой боялся потерять дружбу со многими литераторами, знакомством с которыми дорожил. Но в то время уклониться от дуэли, не запятнав свою честь, было сложно, почти невозможно. Лишь при серьёзном посредничестве людей влиятельных удавалось расстраивать многочисленные поединки Пушкина. Но в данном случае сложность была в том, что Пушкин же твёрдо решил драться с Толстым. Убедить его отказаться от дуэли было невозможно. Рылевева к тому времени уже не было, его повесили в 1826 году как государственного преступника, пытавшегося вместе с известными сообщниками пустить под откос Россию и организовавшего бунт на Сенатской площади. Да и дуэль уже была с ним, и Пушкин выстрелил в воздух. Но оставался Толстой...

На протяжении всей ссылки в Михайловское он ежедневно тренировался, зная, сколь опасен его противник. Он ходил с тяжёлой тростью, служившей для укрепления руки. Применял и другие различные упражнения.

Мне довелось участвовать в сборных стрелковых командах Калининского суворовского военного училища Московского высшего общевойскового командного училища, и 32-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Я был «винтовочником», то есть стрелял из спортивной винтовки так называемый стандарт – из положений «лёжа», «с колена», «стоя». Но мне приходилось наблюдать за тренировками «пистолетчиков». Часами простаивали они если не с пистолетом, то просто с тяжёлым предметом на вытянутой руке, добываясь, чтобы вытянутая рука стояла твёрдо. В ту пору ещё можно было найти чугунные утюги. Вот идеальный предмет для тренировки.

Это теперь переняли у хилой заграницы подъём пистолета двумя руками – видно, одной на Западе уже не под силу оружие удерживать. А мы с ребятами из сборной команды, если в увольнения попадали несколько человек сразу, заходили в тир и стреляли из духовой винтовки с одной вытянутой руки – и стреляли без промаха.

А у Пушкина было и ещё одно упражнение, которым он увлекался в Михайловском, – упражнение очень результативное. Он описал его в рассказе «Выстрел», в котором немало эпизодов скопированы с личной жизни...

Напомню, что говорится там о герое рассказа – Сильвио:

«Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил».

Так вот это именно сам Пушкин порою, когда лежал на диване, вдруг брался за пистолет, заведя на стене муху, и р-р-аз – одним выстрелом вдавливал её в стену.

Прибыв в Москву по вызову государя в сентябре 1826 года, Пушкин сразу направил вызов графу Толстому, но того в городе не оказалось. Ну а потом за дело взялся друг Пушкина, впоследствии известный библиофил и библиограф Сергей Александрович Соболевский (1803–1870), который и прежде неоднократно предотвращал дуэли поэта. Он не только сумел примирить Пушкина и Толстого, но и подружить их.

П. И. Бартенев писал по этому поводу:

«Существует несколько версий примирения Пушкина с Толстым. Первая: графа не было в Москве, и острота конфликта разрядилась. Другая версия такая: Соболевский, передав вызов, застал графа в большом горе... и он попросил три дня отсрочки, на что Соболевский ответил согласием. Доложив об этом Пушкину, Соболевский услышал от него, что согласен и на двухнедельную отсрочку. Растроганный Толстой ночью пришёл к Пушкину и кинулся к нему в объятия. Так они помирились».

Спустя несколько лет Пушкин выбрал графа Фёдора Ивановича Толстого в свои сваты, когда просил руки Натальи Николаевны Гончаровой. Писатель В. А. Соллогуб даже высказывал предположение, что если бы в 1837 году Соболевский был в Петербурге, он бы смог предотвратить дуэль с Дантесом. Впрочем, это предположение ошибочно. Дуэль была прикрытием убийства, прикрытием ликвидации Солнца Русской поэзии, Гордости России – Пушкина, который был «нашим всё».

Тем не менее примирение с графом Фёдором Ивановичем Толстым нашло отражение в творчестве Пушкина. В романе «Евгений Онегин» граф Толстой прототип секунданта Ленского, дерзкого дуэлянта Зарецкого.

Ему посвящены такие строки:

В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живёт
И здравствует ещё донине
В философической пустыне
Зарецкий, некогда буян,
Картёжной шайки атаман,
Глава повес, трибун трактирный,
Теперь же добрый и простой
Отец семейства холостой,
Надежный друг, помещик мирный
И даже честный человек:
Так исправляется наш век!

Действительно, у графа Фёдора Ивановича от вышеупомянутой Тугаевой было двенадцать детей, которые, увы, ушли из жизни в свои детские и отроческие годы. Лишь одна дочь, Прасковья Фёдоровна, прожила долгую жизнь и была в браке с московским губернатором В. С. Перфильевым и дожила до 1887 года. А вот о старшей дочери, Сарре Фёдоровне, упоминал даже Пушкин:

«Видел я свата нашего Толстого. Дочь у него так же почти сумасшедшая, живёт в мечтательном мире, окружённая видениями, переводит с греческого Анакреона и лечится омеопатически».

Пушкин писал в «Евгении Онегине» о герое, прототипом которого сделал графа Толстого:

Он был не глуп; и мой Евгений,
Не уважая сердца в нём,

Любил и дух его суждений,
И здравый толк о том, о сём.
Он с удовольствием, бывало,
Видался с ним...

Отмечено и то, что герой был отличным стрелком, недаром ведь у прототипа на совести одиннадцать загубленных жизней...

Бывало, льстивый голос света
В нём злую храбрость выхвалял!
Он, правда, в туз из пистолета
В пяти саженьях попадал....

Да и участие в войне отмечено. За дуэли его не раз разжаловали, и по этой причине он встретил Отечественную войну 1812 года рядовым. Тем не менее, в Париж вступил уже в чине полковника и со Святым Георгием 4-й степени в петлице.

И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого сваясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!
Новейший Регул, чести бог,
Готовый вновь предаться узам,
Чтоб каждым утром у Бери
В долг осушать бутылки три.
Бывало, он трунил забавно,
Умел морочить дурака
И умного дурачить славно,
Иль явно, иль исподтишка,
Хоть и ему иные штуки
Не проходили без науки,
Хоть иногда и сам впросак
Он попадался, как простак.
Умел он весело поспорить,
Остро и тупо отвечать,
Порой расчетливо смолчать,
Порой расчетливо повздорить,
Друзей поссорить молодых
И на барьер поставить их,
VII
Иль помириться их заставить,
Дабы позавтракать вдвоем,
И после тайно обесславить
Веселойшуткою, враньем.
Sed alia tempora! Удалость
(Как сон любви, другая шалость)
Проходит с юностью живой.

Как я сказал, Зарецкий мой,
Под сень черемух и акаций
От бурь укрывшись, наконец,
Живёт, как истинный мудрец,
Капусту садит, как Гораций,
Разводит уток и гусей
И учит азбуке детей.

Но, разумеется, как уже видно из приведённых выше строк, судьба героя отличалась от судьбы графа Фёдора Ивановича Толстого, который в плену французском не бывал. В остальном всё выписано довольно точно.

Остаётся только добавить, что вновь перед нами пример того, что для многих, даже для таких дерзких дуэлянтов, как Толстой, имя Пушкина соединялось с Россией. Ну а Толстой хоть и был прозван «американцем» за своё путешествие в Америку, оставался патриотом, ни за что бы не променявшим Отечество.

Конечно, опасность дуэли была. И если бы Толстой благоразумно не уклонился, быть может, впервые в жизни, от поединка, Россия могла потерять Пушкина уже в 1826 году. Но, повторяю, Толстой был русским человеком, способным осознать, на кого предстояло поднять руку.

Направление Кишинёв. Ссылка или служебная командировка?

В кишинёвском обществе Пушкин вёл себя значительно более настойчиво и дерзко, нежели в Михайловском. Он словно испытывал судьбу.

За время так называемой южной ссылки Пушкин девять раз посылал вызовы на дуэль и трижды выходил к барьеру. Два раза оба противника промахнулись. Пушкин, разумеется, оба раза промахнулся умышленно. Один раз промахнулся противник Пушкина, а Пушкин от выстрела отказался.

Но прежде всего надо разобраться с самой «южной ссылкой» Александра Сергеевича Пушкина, которая стала уже неотъемлемой частью его биографии. А ведь это очередная выдумка ордена русской интеллигенции. Никакой южной ссылки не было. Была служебная командировка по линии коллегии иностранных дел.

Доказательства? Пожалуйста! Есть и доказательства, причём доказательства, приведённые добросовестными современниками, а не сомнительными некоторыми биографами, которые многое навывдумывали в угоду различного рода извращений биографии Русского гения.

Предыстория этой самой «южной ссылки», богатой дуэлями, была связана отчасти с тем, что в Петербурге, по свидетельству современников, Пушкину не сносить было головы, поскольку он частенько посылал вызовы на дуэли, которые чаще всего рассыпались на уровне их подготовки либо заканчивались пальбой в воздух и примирениями враждующих сторон. Но, как в случае с Рылеевым, представляли серьёзную опасность для жизни уже заявившего о себе поэта.

Всё это происходило уже после окончания Царскосельского Императорского лицея, выпуск из которого состоялся 9 июня 1817 года.

Назначение по выпуску Пушкин получил в Коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря (десятый класс из четырнадцати в табели о рангах).

Служба, как принято считать, сразу не задалась. Уже менее чем через месяц, 3 июля 1817 года, Пушкин подал прошение об отпуске и отправился с родителями, сестрой и братом в Михайловское.

Потом снова послужил немного и вскоре, спустя два года, взял новый отпуск. Для чего? Его снова и снова тянуло в Михайловское. На этот раз он отправился туда на месяц. Всего же он трижды побывал в этом имении до большой туда ссылки. Поездки напитали его древней ведической мудростью благодаря Арине Родионовне.

О службе же Пушкина в Коллегии иностранных дел Егор Антонович Энгельгардт (1775–1862), русский писатель и педагог, бывший директором Царскосельского Императорского лицея в 1816–1823 годах, писал: Пушкин «ничего не делает в Коллегии, он даже там не показывается».

Недаром впоследствии в ненапечатанных главах романа «Евгений Онегин» (XXX в) были обнаружены такие строки:

Мы все служили понемногу,
Когда-нибудь и где-нибудь,
И орденами, слава Богу,
У нас немудрено блеснуть.
Когда бы я, как наш Евгений,
Служить собрался, без сомнений,
За стать и доблесть, блеск мундира –

В полк Новгородских кирасиров!
Где рано утром в конный строй,
Где блеск кирасы, звон палашей,
Где жаркий бой с хмельною чашей,
Когда с врагом окончен бой.
Туда, где в дружеском строю
Я пропил молодость свою.

Что касается отношения Пушкина к армейскому строю и его стремлению в бой, в самые горячие точки жарких схваток, то об этом мы ещё поговорим в последующих главах. Ведь храбрость на дуэльных поединках немного стоила, если бы не подтверждалась храбростью в боевых действиях.

Служба в Коллегии иностранных дел позволила на первых порах заняться творчеством. В то же время его искромётные стихи дали повод некоторым злым силам начать провокационные делишки под прикрытием его имени, постепенно обретающего авторитет и любовь среди широких слоёв читателей.

Современники отмечали, что столицу буквально наводнили дерзкие стихотворения, якобы написанные Пушкиным. В декабре 1817 года появилась ода «Вольность».

(...)
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Дерзко сказано! Или вот, дальше:

(...)
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор –
Везде бичи, везде желёзы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слёзы;
Везде несправедная Власть
В сгущённой мгле предрассуждений
Воссела – Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простёрт их твёрдый щит,
Где сжатый верными руками
Граждán над равными главами
Их меч без выбора скользит
И преступленье с высока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.

Владыки! вам венец и трон
Даёт Закон – а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

Как мог отнестись Император к подобным стихам? Нам это неизвестно. Нам это рассказали вездесущие литературоведы, которые конечно же с помощью фантастических возможностей, видимо, проникли в мысли Императора. Но факты говорят о том, что проникли не совсем или даже вовсе не проникли. Кстати, вспомним, что говорил Император, известный нам под именем Александра I по поводу вольнодумцев, которые, по всему было видно, готовили заговор.

Однажды после доклада Васильчикова Император сказал ему:

«Друг мой Васильчиков! Так как вы находитесь у меня на службе с начала моего царствования, то вы знаете, что и я когда-то разделял и поощрял эти мечтания и заблуждения».

И потом, после длинной паузы, добавил:

«Не мне наказывать».

Не означает ли это, что Император разделял и юные заблуждения Пушкина, от которых поэт полностью излечился после встречи с Николаем I в Чудовом монастыре в 1826 году.

А вот далее при разборах очередных строк оды смысл их уже извращался намеренно.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.

Пушкину шёл девятнадцатый год. Он только что окончил Царскосельский Императорский лицей, рассадник вольтерьянства и масонства, а потому неудивительно, что не все акценты расставлены правильно. Отдельные биографы из среды ордена русской интеллигенции, в том числе и советские выдумщики, пытались убедить читателей, что под самовластным злодеем Пушкин имел в виду Русского Царя. Конечно же, ненавистного врагам России и Самодержавия – Николая I. Не обратили внимания лишь на такую мелочь, как дату написания оды. А между тем в 1817 году никто, кроме Императора, известного нам под именем Александра I, не знал о том, что через восемь лет взойдёт на престол Николай Павлович. Даже сам Николай Павлович не ведал. Сообщил о том, что собирается передать ему престол действующий Император в 1819 году. Ну разве что намекала на это мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, часто повторявшая, когда приходилось сдерживать великого князя Николая от стремления выйти на поле брани: «Вас берегут для других случайностей». Она могла это предполагать, зная мнение цесаревича Константина Павловича по поводу вступления на престол. Он и не скрывал своих мыслей. Так Николай Александрович Саблуков вспоминал свой разговор с ним после убийства Императора Павла Петровича:

«Однажды утром, спустя несколько дней после ужасного события, мне пришлось быть у его высочества (цесаревича Константина Павловича. – *Н.Ш.*) по делам службы. Он пригласил меня в кабинет и, заперев за собою дверь, сказал:

– Ну, Саблуков, хорошая была каша в тот день!

– Действительно, ваше высочество, хорошая каша, – отвечал я, – и я очень счастлив, что я в ней был ни при чём.

– Вот что, друг мой, – сказал торжественным тоном великий князь, – скажу тебе одно, что после того, что случилось, брат мой может царствовать, если это ему нравится; но, если бы престол когда-нибудь должен был перейти ко мне, я, наверно, бы от него отказался».

Вполне естественно, ни Пушкин, никто другой из его окружения не могли знать о том.

Иные биографы указывали, что выражение это относится к тому, кто был на престоле. Но у Императора, звавшегося Александром I, как известно, наследников не было.

На самом деле строки: «Самовластительный Злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу» – относятся к Наполеону... А «мученик ошибок славных» – это французский король Людовик XVI, которого казнили во время великой по кровавости своей французской революции.

Пушкин первоначально даже написал не «Злодейская порфира», а «Наполеонова порфира», а потом просто перенёс это уточнение в примечание.

Ну а далее – дань своему времени, не вполне ещё разгаданному:

Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец –
И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигуллы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит – в лентах и звёздах,
Вином и злобой упоённые
Идут убийцы потаённые,
На лицах дерзость, в сердце страх.
Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъёмный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наёмной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

В 18–19 лет трудно охватить и осмыслить все исторические события, а потому Михайловский замок назван «Пустынным памятником тирана». Ну а сам Император Павел Петрович совершенно незаслуженно отождествлён с жестокосердным римским императором Калигулой, убитым его же собственными телохранителями. Этим именем Пушкин называет Павла I и в рукописном своём автографе, где начертал профиль Павла I.

Один из лучших государей русской истории не был разгадан Пушкиным. Да и как разгадать, если убийцы о том позаботились. Недаром вещий Авель-прорицатель предрёк Императору Павлу:

«Коротко будет царствование твоё, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В Страстную Субботу погребут тебя... Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою... Но народ русский правдивой

душой своей поймёт и оценит тебя и к гробнице твоей понесёт скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких».

Ода, естественно, не была опубликована ни сразу после написания, ни позже, вплоть до советского времени. Но она распространялась в списках, её подняли на свой щит будущие государственные преступники, уже в то время готовившие переворот. А в такой среде всегда достаточно доносчиков. Ода стала известна властям. К тому же появились и другие дерзкие стихотворения, эпиграммы, причём и на самого Императора, и на Аракчеева. Хотя авторство Пушкина весьма сомнительно, о чём говорит его заявление на смерть графа Алексея Андреевича Аракчеева, выдающегося государственного деятеля:

«Об этом во всей России жалею я один – не удалось мне с ним свидеться и наговориться».

Но это написано в апреле 1834 года. Пушкин вступил в пору зрелости и многое понимал иначе, нежели в юности.

Ну а в период написания оды «Вольность», эпиграмм, других дерзких стихотворений он выступал как бунтарь-одиночка. В свои планы друзья, принадлежавшие к тайным обществам, его не посвящали. Он же пребывал в вечном поиске правды и справедливости, искал свой путь к Истине, а поиск таков неимоверно тернист.

Иван Пущин вспоминал о «разных его выходках», которые уж никак не могли понравиться Императору:

«Однажды в Царском Селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побегал в сад, где мог встретиться глаз на глаз, в тёмной аллее, с Императором, если бы на этот раз не востроен был его маленький шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблён, а Пушкин при этом случае не обинуясь говорил: “Нашёлся один добрый человек, да и тот медведь!” Таким же образом он во всеуслышание в театре кричал: “Теперь самое безопасное время – по Неве идёт лёд”. В переводе: нечего опасаться крепости. Конечно, болтовня эта – вздор; но этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее своё развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал».

Биографы полагали, что Пушкину грозила ссылка в Сибирь, и, как уже утвердилось в пушкиноведении, лишь стараниями влиятельных друзей удалось заменить её отправкой на юг, с одной стороны, как будто бы и в ссылку, а с другой...

Словом, на самом деле Пушкина решено было перевести на юг по службе! И в документах значится:

«По высочайшему повелению коллежский секретарь Пушкин был направлен на Юг, под начало главного попечителя колонистов Южного края России генерал-лейтенанта И. Н. Инзова...»

Предыстория же такова...

Поэт Фёдор Николаевич Глинка (1786–1880), известный нашему читателю особенно мемуарами «Письма русского офицера о Польше, Австрийских владениях, Пруссии и Франции, с подробным описанием похода Россиян против Французов в 1805 и 1806 гг., а также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год», поэтическим изданием «Опыты священной поэзии», а также «Духовными стихотворениями», в 1819 году получил назначение на должность правителя канцелярии при генерале от инфантерии Михаиле Андреевиче Милорадовиче, который с 1818 года являлся Санкт-Петербургским военным генерал-губернатором, управляющим и гражданской частью.

Фёдор Глинка вспоминал о событиях, связанных с расследованием пушкинских эпиграмм и других, по мнению властей, дерзостных стихов:

«Раз утром выхожу я из своей квартиры и вижу Пушкина, идущего мне навстречу. Он был, как и всегда, бодр и свеж; но обычная (по крайней мере, при встрече со мною) улыбка

не играла на его лице, и лёгкий оттенок бледности замечался на щеках. Пушкин заговорил первый.

– Я шёл к вам посоветоваться. Вот видите: слух о моих и не моих пиесах, разбежавшихся по рукам, дошёл до правительства. Вчера, когда я возвратился поздно домой, мой старший дядька объявил, что приходил в квартиру какой-то неизвестный человек и давал ему пятьсот рублей, прося дать ему почитать моих сочинений и уверяя, что скоро принесёт их назад. Но мой верный старик не согласился, а я взял, да и сжёг все мои бумаги... Теперь, – продолжал Пушкин, немного озабоченный, – меня требуют к Милорадовичу! Я не знаю, как и что будет, и с чего с ним взяться?... Вот я и шёл посоветоваться с вами...

Мы остановились и обсуждали дело со всех сторон. В заключение я сказал ему:

– Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь, и без всякого опасения. Положитесь, условно, на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Тут, ещё поговорив немного, мы расстались: Пушкин пошёл к Милорадовичу.

Часа через три явился я к Милорадовичу, при котором состоял я по особым поручениям. Милорадович, лежавший на своём зелёном диване, окутанный дорогими шальями, закричал мне навстречу:

– Знаешь, душа моя! У меня сейчас был Пушкин! Мне ведь велено взять его и забрать все его бумаги; но я счёл более деликатным пригласить его к себе и уж от него самого вытребовать бумаги. Вот он и явился очень спокоен, со светлым лицом, и когда я спросил о бумагах, он отвечал: “Граф! Все мои стихи сожжены! – у меня ничего не найдёте в квартире, но если вам угодно, всё найдётся здесь (указал пальцем на свой лоб). Прикажите подать бумаги; я напишу всё, что когда-либо написано мною (разумеется, кроме печатного) с отметкою, что моё и что разошлось под моим именем”. Подали бумаги. Пушкин сел и писал, писал... и написал целую тетрадь... Вот она (указывает на стол у окна), полюбуйте! Завтра я отвезу её государю. А знаешь ли? Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою обхождения».

О восторженном восклицании Милорадовича историк и литературовед Пётр Иванович Бартенев выразился так:

«Уже тогда было что-то магическое в слове Пушкин. Через шесть лет с подобным же восклицанием обратился император Николай Павлович к гр. Д. Н. Блудову: “Знаешь ли, кто был у меня сей час? – Пушкин!”

На другой день, – продолжил в мемуарах Фёдор Глинка, – я пришёл к Милорадовичу поранее. Он возвратился от Государя, и первым словом его было:

– Ну, вот дело Пушкина и решено!

И продолжал:

– Я подал Государю тетрадь и сказал: “Здесь всё, что разбелось в публице, но вам, Государь, лучше этого не читать”.

Государь улыбулся на мою заботливостъ. Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и, наконец, спросил:

– А что же ты сделал с автором?

– Я? Я объявил ему от имени Вашего Величества прощение!

Тут мне показалось, что Государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостъю сказал:

– Не рано ли?

Потом, ещё подумав, прибавил:

– Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг!

Вот как было дело. Между тем, в промежутке двух суток, разнеслось по городу, что Пушкина берут и ссылают. Гнедич с заплаканными глазами (я сам застал его в слезах) бросился к Оленину. Карамзин, как говорили, обратился к Государыне (Марии Федоровне), а Чаадаев

хлопотал у Васильчикова, и всякий старался замолвить слово за Пушкина. Но слова шли своею дорогою, а дело исполнялось буквально по решению».

Таков рассказ человека, непосредственно причастного к отправке Пушкина в командировку, услышавшего о решении государя от Милорадовича, то есть из первых уст.

Современные биографы Пушкина убедительно доказали, что направление Пушкина в Кишинёв не было ссылкой, а являлось назначением на службу по линии Коллегии иностранных дел. А сотрудники этой коллегии занимались не в последнюю очередь внешней разведкой.

Просто в известный период нашей истории, когда охаивалось всё, что касалось самодержавия, иные историки из кожи лезли вон, чтобы придумать любые факты, порочащие царскую власть и самих государей. Тем более, в данном случае обвинить царя в жестокости к Пушкину было легко, ввиду не слишком открытых целей командировки. Обставили всё так, что посылают не в ссылку, а в командировку, на что указывает приведённая далее фраза: «С соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг!»

После истории с «запрещёнными стихами» произошли некоторые изменения в характере поведения Пушкина. Русский литературный критик, историк литературы и мемуарист Павел Васильевич Анненков отметил:

«П. А. Катенин (Павел Александрович Катенин (1792–1853 – русский поэт, драматург, литературный критик, переводчик, театральный деятель) заметил в эту эпоху (1819 г.) характерную черту Пушкина, сохранившуюся и впоследствии: осторожность в обхождении с людьми, мнение которых уважал, ловкий обход спорных вопросов, если они поставлялись слишком решительно». Фаддей Булгарин писал о Пушкине: «Скромнен в суждениях, любезен в обществе и дитя по душе».

Что ж, отчасти сбывалось пожелание поэта Константина Батюшкова, высказанное в письме в А. И. Тургеневу:

«Не худо бы его запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... Как ни велик талант “Сверчка”, он его промотает, если... Но да спасут его музы и молитвы наши!»

Знаменитый русский мемуарист Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) Москва), хорошо знавший Пушкина по обществу «Арзамас», рассказал, что «Сверчком» нарекли поэта, поскольку он «в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал оттуда свой звонкий голос». Отметил он и то, что поэту пора было покинуть столицу, где, по словам современницы, «у господина Пушкина всякий день дуэли; слава Богу, не смертоносные, так как противники остаются невредимыми».

Странная дорога в Кишинёв

Дорога в Кишинёв была долгой, да и весьма странный получился маршрут. Это – ещё одно доказательство, что отправили Пушкина вовсе не в ссылку, а в командировку.

Перед отъездом из Петербурга Пушкин писал своему другу князю Петру Андреевичу Вяземскому:

«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу».

Выехал Пушкин в апреле – около 1600 вёрст предстояло проехать только до Екатеринослава, где поэт планировал сделать небольшой отдых. Утомительно путешествовать в распутицу по раскисшим дорогам.

Екатеринослав ещё во времена Екатерины Великой предполагалось сделать третьей столицей Российской империи. Светлейший Князь Григорий Александрович Потёмкин (1739–1791) превратил его в центр Новороссии, после Санкт-Петербурга и Москвы. Одно время – с 1796 по 1802 год – город даже носил название Новороссийска. Этому могло способствовать удобное расположение города, раскинувшегося на берегу Днепра... Екатеринославом же он именовался дважды – с 1776 по 1796 год, когда получил название в честь императрицы Екатерины Великой. Затем, переименованный императором Павлом I, стал Новороссийском, и снова затем при преемнике Павла Петровича получил название Екатеринослав, которое и носил с 1802 по 1926 год. Ныне это – Днепропетровск.

Судя по переписке Пушкина, он, добравшись до города, решил передохнуть там перед тем, как продолжить путь, но во время купания в ледяной ещё воде Днепра сильно простудился. Там его в болезнном состоянии и застал прославленный герой Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский.

Раевский после войны служил в Киеве, где командовал сначала 3-м, а затем 4-м пехотными корпусами. Биографы свидетельствуют, что он очень любил путешествовать вместе с семьёй, причём ежегодно бывал либо в Крыму, либо на Кавказе. Правда, путешествия, если обратить внимание на их маршрут и пункты остановки, мало походили на простой отдых, тем более отдых курортный.

Прибыв из Киева в Екатеринослав, Николай Николаевич Раевский встретился с Пушкиным, и сразу возникло решение взять поэта с собой для лечения на Кавказских минеральных водах, которые, кстати, вовсе не служат для лечения простудных заболеваний. Но уж как-то так устоялось в биографических произведениях, что Пушкина повезли лечиться от простуды именно на воды.

Пушкин обратился к генералу Инзову, в распоряжение которого направлялся в Кишинёв, за разрешением на такое лечение.

В 1818 году генерал от инфантерии Иван Никитич Инзов, активный участник Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии, получил назначение главным попечителем и председателем Попечительного Комитета о иностранных колонистах Южной России, а с 1820 года он стал полномочным наместником Бессарабской области. Это был генерал исключительно справедливый, честный, человечный, но одновременно и строгий. Пушкину ещё предстояло познакомиться в Кишинёве и с добротой Инзова, и с его строгостью, особенно связанной с постоянными ситуациями, приводившими к вызовам на поединки, либо посылаемыми Пушкиным своим противникам, либо направляемыми ему другими постоянно возникающими противниками.

Есть сведения о том, что Инзов не только приветствовал назначение Пушкина в Кишинёв, но даже приложил к этому старания, поскольку был почитателем таланта молодого поэта.

Путешествовать с Раевским он Пушкину охотно разрешил. Вот и ещё одно подтверждение того, что Пушкин был вовсе не ссылкой. Такие вот отклонения от пути следования в ссылку Инзов дозволить не мог. Это было в компетенции столичных властей, а возможно и лично императора, поскольку причиной ссылки называют ведь дерзкие стихи и особенно эпиграммы на высших сановников, в том числе и государя.

Из Екатеринославля Пушкин вместе с Раевским, его дочерьми Софьей и Марией и сыном Николаем выехал в Таганрог. Там познакомился с генерал-майором Дмитрием Ефимовичем Кутейниковым (1766–1844), впоследствии, в 1827 году, ставшим наказным атаманом Войска Донского. В ту пору, когда Пушкин посетил Таганрог, Кутейников, уволившийся ещё в 1813 году по болезни в отставку, работал с 1820 года в составе комитета по устройству Войска Донского.

Подробности знакомства с Кутейниковым и пребывания Пушкина в Таганроге почти не известны, но известно другое – именно Кутейникову поэт передал в 1829 году на хранение «Сафьянную тетрадь» и тщательно зашифрованную рукопись в 200 страниц, о которой мы ещё поговорим далее.

Что делал в Таганроге генерал Раевский и с какой целью останавливался там, тоже неизвестно.

Правда, в своём архиве он оставил впечатления о Таганроге:

«Город на хорошем месте, строением бедный, много домов, покрытых соломой, но торговлей богат и обыкновенно вдвое приносит правительству против Одессы. Способов ей не дают, купцы разных наций не имеют общественного духа, от сего нет никакого общественного заведения...»

В качестве недостатка с военной точки зрения Николай Николаевич отметил, что «по мелководию суда до берега далеко не доходят, а при мне сгружали и нагружали оные на подмощённых телегах, которые лошади, в воде по горло, подвозили к судам».

В ту пору управлял городом генерал Пётр Афанасьевич Папков (1772–1853), в прошлом Санкт-Петербургский обер-полицмейстер. 31 января 1810 года Папков был назначен таганрогским, ростовским, нахичеванским и мариупольским градоначальником. В его таганрогской резиденции – двухэтажном каменном доме, который был одним из лучших в городе – и остановились Пушкин и Николай Николаевич Раевский со всем своим семейством. Уже в то время дом был знаменит тем, что в нём останавливался во время своего первого приезда в Таганрог в мае 1818 года император Александр I. В тот год он совершал путешествие по Югу России.

Спустя два года Пушкин оказался в том же доме. Поездка была продолжена 6 июня 1820 года. Вскоре к путешественникам присоединился и второй сын Николая Николаевича Александр. Имена отважных сыновей Александра и Николая известны нам по их беспримерному подвигу в бою под Салтановкой в июле 1812 года, когда они вместе с отцом вышли под вражескую картечь на плотину, воодушевив тем самым солдат корпуса Раевского на победу в бою, решившем исход схватки. Та победа под Салтановкой обеспечила соединение 1-й Западной армии генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая-де-Толли и 2-й Западной армии генерала-от-инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона в Смоленске.

Братья подружились с Пушкиным.

Удивительно то, что дальнейший маршрут путешествия был далеко не лечебным. Из Таганрога «отдыхающие» путешественники отправились в Ставрополь, а оттуда вовсе не в Пятигорск или Кисловодск, а во Владимирский редут. Далее путь их лежал через Прочный окоп к Царицынскому редуту, далее они побывали в Кавказской крепости, в Казанском, Тифлисском и Ладожском редутах, посетили Усть-Лабинскую крепость, Карантинный редут и прибыли в Екатеринодар.

Затронула ли поездка по Северному Кавказу города Кавказских минеральных вод?

Ответ на этот вопрос мы находим в письме Пушкина к своему младшему брату Льву Сергеевичу от 20 сентября 1820 года:

«Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в тёплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои – излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах – и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии».

Как видим, в письме лишь вскользь о красотах природы и... о политике. Так какова же цель поездки вместе с сильнейшим и талантливейшим по тем временам военачальником – Николаем Николаевичем Раевским?

Путешественники из Екатеринодара прибыли в Тамань, а оттуда уже на военном корабле – бриге «Мингрелия» – перебрались сначала в Керчь и Феодосию.

Пушкин вспоминал:

«Из Азии переехали мы в Европу на корабле. Я тотчас отправился на так называемую Митридадову гробницу; там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее действовали на моё воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи – и только. Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы.... “Вот Чатырдаг”, сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ими; с права огромный Аю-даг... и кругом это синее, чистое небо, и светлое море и блеск и воздух полуденный...»

Командиром 16-пушечного брига «Мингрелия» был капитан-лейтенант Михаил Николаевич Станюкович (1786–1869), впоследствии адмирал, командир Севастопольского порта и военный губернатор Севастополя. Его сын Константин Михайлович Станюкович (1843–1903) стал известным писателем маринистом. Думаю, многие в своём советском детстве зачитывались его рассказами, ныне почти неизвестными.

Гурзуф (Пушкин называл его Юрзуфом) представлял собою небольшую – всего дворов двадцать пять – деревню Алуштинской волости, расположенную близ знаменитой Медведь-горы, богатой древними легендами.

Что могло заинтересовать путешественников в небольшой деревушке? Понятнее было, если бы прибыли они в Ялту. Ялта находится западнее Медведь-горы, то есть по другую от Гурзуфа сторону. Может быть, привлекли древние легенды?

Мне довелось бывать в тех краях в советское время, когда близ Гурзуфа располагался у самого подножия горы Центральный военный санаторий «Крым». Места великолепны, горные отроги таинственны. Недавно я нашёл в Интернете за подписью «Катерина Ще» легенду об этой живописной и загадочной горе:

«Давным-давно на крымском побережье не было никаких людей и только звери жили на полуострове. Особенно много было огромных и свирепых медведей. Как-то раз к побере-

жью прибило обломки корабля, а среди них стая медведей обнаружила свёрток с маленькой девочкой. Вожак решил оставить ребёнка. Девочка росла среди медведей и была их всеобщей любимицей. Она стала красивой девушкой и своими чудесными песнями могла тронуть самое суровое медвежье сердце.

Однажды она увидела лодку на берегу, в которой лежал обессиленный юноша. Он сбежал из рабства в чужой стране, но слишком сильной была стихия, которая не дала доплыть до родных берегов. Девушка спрятала юношу и долгое время выхаживала его. Он же рассказал ей про свои родные края, где есть много людей, радостно живущих друг с другом.

Девушка была очарована юношей и его рассказами, и двое влюблённых решили уплыть вместе. Когда парень окреп, они изготовили парус для лодки и отчалили. Уже далеко были они, когда вернулись из долгого похода медведи. Увидев свою любимицу далеко в море, они рассвирепели и припали к воде, жадно пытаясь выпить всё море. Лодка закружилась, и её начало быстро тянуть к берегу. Девушка понимала, что её любимому грозит смерть, и она начала петь свои самые красивые песни, уговаривая медведей оставить их. Звери прекратили пить и заворуженно слушали песни. Только вожак стаи не поднялся от воды, но и он прекратил пить. Так и остался огромный медведь лежать в море, глядя на удаляющуюся лодку. Долго он лежал... голова и туловище его окаменели, бока превратились в отвесные скалы и весь он порос лесной «шерстью»...»

Несомненно, и семья Раевского, и Пушкин любовались необыкновенной горой, но только ли ради этого прибыли туда генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский и сотрудник Коллегии иностранных дел Александр Сергеевич Пушкин? И какие они задачи решали там в течение целых трёх недель. Пушкин писал о тех днях: «В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом; я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского Lazzarone (лаццароне – нищего, *итал.*). Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его, и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот всё, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти».

Кипарис сохранился до наших дней. Пушкин жил в мезонине дома градоначальника Одессы и генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье (1791–1822).

В поэме «Бахчисарайский фонтан» он посвятил этому райскому месту такие строки:

Забыв и славу, и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный, –
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приятная краса,
И струй, и тополей прохлада...
Всё чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет, и шумит

Вокруг утесов Аю-дага...

Из Гурзуфа путешественники направились верхом в Ялту, а оттуда в Бахчисарай.

Пушкин писал:

«Я объехал полуденный берег, и путешествие М. оживило во мне много воспоминаний; но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По Горной Лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным, восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была берёза, северная берёза! сердце мое сжалось: я начал уже тосковать о милом полудне, хотя всё ещё находился в Тавриде, всё ещё видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы. Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических; по крайней мере тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они:

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданием возгордилось.
.....
Ч<адаев>, помнишь ли бывшее?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена...»

По мнению современных исследователей, путешествие более походило на инспекционную поездку по границам Российской империи. Ну а что касается точных данных об этом, то их нет по вполне понятным причинам. Разведывательные органы в Российской армии только зарождались. Имеются в виду специальные учреждения, создаваемые для этого. Взять хотя бы Особенную канцелярию, созданную незадолго до нашествия Наполеона Михаилом Богдановичем Барклаем-де-Толли. О ней сохранилось очень мало сведений, потому что всё, что касалось её работы, представляло государственную тайну. Не сохранилось конкретных данных и о том, какой деятельностью занимался Пушкин во время своей южной командировки.

Позднее, уже из Кишинёва, в письме, датированном 20 сентября 1820 года, он писал своему брату Льву Сергеевичу:

«...Видел я берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно готовы драться; в вечной предосторожности! Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажжённым фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа – они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению. Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков – теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикапеи, думал я – на ближней горе посередине кладбища увидел я груды камней, утесов, грубо высеченных – заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни – не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею – вот всё, что осталось от города Пантикапеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками; какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий – но ему недостает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керчи приехали мы в Кефу, остановились у Броневского, человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом – и, подобно Старикау Виргилия, разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю; отошли её Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посередине семейства почтенного Раевского. Я не видел в нём героя, славу русского войска, я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое, полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, – горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда – увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского... Теперь я один в пустынной для меня Молдавии...»

Здесь к месту привести стихотворение «Элегия», о котором упомянуто в письме:

Безумных лет угасшее веселье
 Мне тяжело, как смутное похмелье.
 Но, как вино, – печаль минувших дней
 В моей душе чем старе, тем сильней.
 Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
 Грядущего волнуемое море.
 Но не хочу, о други, умирать;
 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
 И ведаю, мне будут наслажденья
 Меж горестей, забот и треволненья:
 Порой опять гармонией упьюсь,

Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Отдохновение от столичной суеты, от сплетен, которые уже начали накатываться омерзительными волнами на поэта, – вот что сквозит в стихотворении. А здесь, среди замечательного семейства Николая Николаевича Раевского покой, добрые разговоры, теплые взаимоотношения и никаких ссор, никаких приглашений к поединкам, которые нередко случались в столице.

В начале сентября 1820 г. Александр Сергеевич вместе с Николаем Николаевичем Раевским и его семьёй побывал в Бахчисарае, из которого писал Дельвигу: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной железной трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полувосточные переделки некоторых комнат».

«Бахчисарай» в переводе с татарского – дворец садов.

Последний пункт пребывания в Крыму – Симферополь, а дальше путь в Одессу и несколько дней в этом полюбившемся поэту весёлом городе.

Побыв несколько дней по пути в Кишинёв, Пушкин затем снова рвался в Одессу, которой впоследствии посвятил несколько поэтических строк в романе «Евгений Онегин».

Я жил тогда в Одессе пыльной:
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразием живой.
Язык Италии златой
Звучит по улице веселой,
Где ходит гордый славянин,
Француз, испанец, армянин,
И грек, и молдаван тяжёлый,
И сын египетской земли,
Корсар в отставке, Морали.

О том, что путешествие с генералом Раевским было совсем не простым, свидетельствует и поведение самого Пушкина. Посмотрите, за всю поездку ни одной дуэли, ни одного вызова на дуэль, а ведь встречаться приходилось с людьми самыми разными и самых различных взглядов. Известно, что при выполнении боевых и равных им задач никаких поединков не допускалось.

Но вот путешествие позади. Впереди служба под началом генерала Инзова...

В кругу военных разведчиков

Наконец, в сентябре 1820 года Пушкин прибыл в Кишинёв, к месту назначения, и был представлен генералу Ивану Никитичу Инзову.

Что там за дела? Что за служба? Пушкин постоянно варился в котле дел не столько гражданских, сколько военных, хотя и не носил погон. Некоторые исследователи обратили внимание на то, что Александр Сергеевич был близок к тем, кто занимался делами разведывательного характера. С ними дружил – с ними и ссорился. Жизнь Пушкина в Кишинёве чрезвычайно богата дуэлями...

Кстати, в подорожной Пушкина значилось:

«Коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобности службы к Главному попечителю колонистов Южного края России г. Генерал-Лейтенанту Инзову».

Кишинёв – не Одесса. Описание города сделал служивший там вместе с Пушкиным подполковник Александр Фомич Вельтман (1800–1870), известный не только как лингвист, археолог, поэт и писатель, но и как картограф.

Картограф! Как видим, и здесь военное дело, и здесь штабная служба, и здесь служба, близкая к разведке.

Так вот Вельтман писал:

«Старый город на отлогом склоне горы делился: на нагорье, где жили вельможи..., на топкую улицу, на Булгарию, или предместье болгар, садовников и огородников по реке Быку. Новый, русский город, на горе, обустроился уже при содействии губернской архитектуры. Его украшали и деревянные тесовые и кирпичные штукатурные здания. На самой возвышенности стояла митрополия, экзархия армянская, и аллеи вновь посаженного сада, воспетого в подражание московскому бульвару».

Русский историк и литературовед, которого часто называют «зачинателем пушкиноведения, Пётр Иванович Бартенев (1829–1912) в работе «Пушкин в Южной России» рассказал:

«Приехав в Кишинев, Пушкин остановился в одной из тамошних глиняных мазанок, у русского переселенца Ивана Николаева, состоявшего при квартирной комиссии и весьма известного в городе смыслёного мужика. Но Инзов вскоре позаботился о лучшем для него помещении. Он дал ему квартиру в одном с собою доме. Дом находился в конце старого Кишинева, на небольшом возвышении. В то время он стоял одиноко, почти на пустыре. Сзади примыкал к нему большой сад, расположенный на скате с виноградником... Дом был довольно большое двухэтажное здание; вверху жил сам Инзов, внизу двое-трое его чиновников. При доме в саду находился птичий двор со множеством канареек и других птиц, до которых наместник был большой охотник... Пушкину отведены были две небольшие комнаты внизу, сзади, направо от входа, в три окна с железными решетками, выходившие в сад. Вид из них прекрасный, по словам путешественников, самый лучший в Кишиневе. Прямо под скатом, в ложине, течёт река Бык, образуя небольшое озеро. Левее – каменоломни молдаван, и еще левее новый город. Вдали горы с белеющими домиками какого-то села. Стол у окна, диван, несколько стульев, разбросанные бумаги и книги, голубые стены, облепленные восковыми пулями, следы упражнений в стрельбе из пистолета, – вот комната, которую занимал Пушкин. Другая, или прихожая, служила помещением верному и преданному слуге его Никите... В этом доме Пушкин прожил почти всё время; он оставался там и после землетрясения 1821 г., от которого треснул верхний этаж, что заставило Инзова на время переместиться в другую квартиру... Большую часть дня Пушкин проводил где-нибудь в обществе, возвращаясь к себе ночевать, и то не всегда, и проводя дома только утреннее время за книгами и письмом. Стола, разумеется, он не держал, а обедал у Инзова, у Орлова, у гостеприимных кишиневских знакомых своих

и в трактирах. Так, в первое время он нередко заходил в так наз. Зеленый трактир в верхнем городе».

Казалось, покинув столицу, Пушкин удалился от общества, в котором дуэли стали обычным делом. Но, увы, оказалось, что это совсем не так. В Кишинёве вызовы на поединки посыпались как из рога изобилия.

Поэт и писатель Александр Фомич Вельтман (1800–1870), во время пребывания Пушкина в Кишинёве служивший картографом, в «Воспоминаниях о Бессарабии» высказал свой взгляд на причины частых дуэлей Пушкина:

«Чья голова невидимо теплится перед истиной, тот редко проходит чрез толпу мирно; раздражённый неуважением людей к своему божеству, как человек, он так же забывается, грозно осуждает чужие поступки и, как древний диар, заступает за правоту своего приговора: на поле дело решается Божьим судом... Верстах в двух от Кишинева, на запад, есть урочище посреди холмов, называемое Малиной, – только не от русского слова малина: здесь городские виноградные и фруктовые сады. Это место как будто посвящено обычаем “полю”. Подъехав к саду, лежащему в вершине лощины, противники восходят на гору по извивающейся между виноградными кустами тропинке. На лугу, под сенью яблонь и шелковиц, близ дубовой рощицы, стряпчие вымеряют поле, а между тем подсудимые сбрасывают с себя платье и становятся на место. Здесь два раза “полевал” и Пушкин, но, к счастью, дело не доходило даже до первой крови, и после первых выстрелов его противники предлагали мир, а он принимал его. Я не был стряпчим, но был свидетелем издала одного “поля”, и признаюсь, что Пушкин не боялся пули точно так же, как и жала критики. В то время как в него целили, казалось, что он, улыбаясь сатирически и смотря на дуло, замышлял злую эпиграмму на стрелца и на промах».

Далее А. Ф. Вельтман описал одну из первых стычек по поводу, многим показавшемуся совсем недостойным поединка:

«Пушкин так был пылок и раздражителен от каждого неприятного слова, так дорожил чистотой мнения о себе, что однажды в обществе одна дама, не поняв его шуточки, сказала ему дерзость.

– Вы должны отвечать за дерзость жены своей, – сказал он её мужу.

Но бояр равнодушно объяснил, что он не отвечает за поступки жены своей.

– Так я вас заставлю знать честь и отвечать за неё, – вскричал Пушкин, и неприятность, сделанная Пушкину женою, отозвалась на муже. Этим всё и заключилось; только с тех пор долго бояре дичились Пушкина...»

Пушкин как-то признался, что для него дуэли – «игра славы», то есть его занимали и сами поединки, и «своеобразный бунт против законов». Щекотало нервы то, что приходилось идти на риск уж в самом участии в запрещённой законом дуэли.

Князь Павел Петрович Вяземский (1820–1888), сын Петра Андреевича и Веры Фёдоровны Вяземских, близких друзей Пушкина, познакомился с поэтом в 1826 году, в шестилетнем возрасте, и всегда с восторгом встречал его, когда тот приходил в гости к родителям. Он посвятил этим встречам свои воспоминания, в которых, уже с позиций прожитых лет и осмысления виденного, привёл важные размышления, в том числе и о дуэлях:

«Нет сомнения, что все истории, возбуждаемые раздражительным характером Пушкина, его вспыльчивостью и гордостью, не выходили бы из ряда весьма обыкновенных, если бы не было вокруг него столько людей, горячо заботившихся об его участи. Сведения о каждом его шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел останавливать свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолodu впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное».

«Докажу им, что я не школьник!»

Итак, кишинёвские дуэли Пушкина... Первая из них связана с человеком военным.

Иван Петрович Липранди рассказал в своих воспоминаниях:

«В конце октября 1820 года брат генерала М. Ф. Орлова, л. – гв. уланского полка полковник Фёдор Фёдорович, потерявший ногу, кажется, под Бауценом или Герлицем, приехал на несколько дней в Кишинев. Удаливость его было известно. Однажды, после обеда, он подошёл ко мне и к полковнику А. П. Алексееву и находил, что будет гораздо приятнее куда-нибудь отправиться, нежели слушать разговор “брatца с Охотниковым о политической экономии!” Мы охотно приняли его предложение, и он заметил, что надо бы подобрать еще кого-нибудь; ушёл в гостиную к Михайле Фёдоровичу и вышел оттуда под руку с Пушкиным. Мы отправились без определённой цели, куда идти: предложение Алексеева идти к нему было единогласно отвергнуто, и решили идти в бильярдную Гольды. Здесь не было ни души. Спрошен был портер. Орлов и Алексеев продолжали играть на бильярде на интерес и в придачу на третью партию вазу жженки. Ваза скоро была подана. Оба гусара порешили пить круговой; я воспротивился, более для Пушкина, ибо я был привычен и находил даже это лучше, нежели не очерёдно. Алексеев предложил на голоса; я успел сказать Пушкину, чтобы он не соглашался, но он пристал к первым двум, и потому приступили к круговой. Первая ваза кое-как сошла с рук, но вторая сильно подействовала, в особенности на Пушкина; я оказался крепче других. Пушкин развеселился, начал подходить к бортам бильярда и мешать игре. Орлов назвал его школьником, а Алексеев присовокупил, что школьников проучивают... Пушкин рванулся от меня и, перепутав шары, не остался в долгу и на слова; кончилось тем, что он вызвал обоих, а меня пригласил в секунданты. В десять часов утра должны были собраться у меня. Было близко полуночи. Я пригласил Пушкина ночевать к себе. Дорогой он уже опомнился и начал бранить себя за свою арабскую кровь, и когда я ему представил, что главное в этом деле то, что причина не совсем хорошая и что надо как-нибудь замять.

– Ни за что! – произнес он, остановившись. – Я докажу им, что я не школьник!

– Оно всё так, – отвечал я ему, – но всё-таки будут знать, что всему виной жжёнка, а притом я нахожу, что и бой не ровный.

– Как не ровный? – опять остановившись, спросил он меня.

Чтобы скорей разрешить его недоумение и затронуть его самолюбие, я присовокупил:

– Не ровный потому, что может быть из тысячи полковников двумя меньше, да ещё и каких ничего не значит, а вы двадцати двух лет уже известны...

Он молчал. Подходя уже к дому, он произнёс:

– Скверно, гадко; да как же кончить?

– Очень легко, – сказал я, – вы первый начали смешивать их игру; они вам что-то сказали, а вы им вдвое, и наконец, не они, а вы их вызвали. Следовательно, если они придут не с тем, чтобы становиться к барьеру, а с предложением помириться, то ведь честь ваша не пострадает.

Он долго молчал и, наконец, сказал по-французски:

– Это басни: они никогда не согласятся; Алексеев, может быть, – он семейный, но Теодор никогда: он обрёк себя на натуральную смерть, то всё-таки лучше умереть от пули Пушкина или убить его, нежели играть жизнью с кем-нибудь другим.

Я не отчаивался в успехе. Закусив, я уложил Пушкина, а сам, не спавши, дождался утра и в осьмом часу поехал к Орлову. Мне сказали, что он только что выехал. Это меня несколько озадачило. Я опасался, чтобы он не попал ко мне без меня: я поспешил к Алексееву. Проезжая мимо своей квартиры, увидел я, что у дверей нет экипажа; который, с радостью, увидел у подъезда Алексеева, а ещё более, и так же неожиданно, обрадовался, когда едва я показался в

двери, как они оба в один голос объявили, что сейчас собирались ко мне посоветоваться, как бы окончить глупую вчерашнюю историю.

– Очень легко, – отвечал я им, – приезжайте в 10 часов, как условились, ко мне; Пушкин будет, и вы прямо скажете, чтобы он, так как и вы, позабыл вчерашнюю жженку.

Они охотно согласились. Но Орлов не доверял, что Пушкин согласится. Возвратясь к себе, я нашёл Пушкина вставшим и с свежей головой обдумавшим вчерашнее столкновение.

На сообщенный ему результат моего свидания он взял меня за руку и просил, чтобы я ему сказал откровенно: не пострадает ли его честь, если он согласится оставить дело? Я повторил ему сказанное накануне, что не они, а он их вызвал, и они просят мира.

– Так чего же больше хотеть?

Он согласился, но мне всё казалось, что он не доверял, в особенности Орлову, чтобы этот отложил такой прекрасный случай подраться; но когда я ему передал, что Фёдор Фёдорович не хотел бы делом этим сделать неприятное брату, – Пушкин, казалось, успокоился. Видимо, он страдал только потому, что столкновение случилось за бильярдом, при жжёнке:

– А не то славно бы подрался; ей-богу, славно!

Через полчаса приехали Орлов и Алексеев. Все было сделано, как сказано; все трое были очень довольны; но мне кажется, все не в той степени, как был рад я, что не дошло до кровавой развязки: я всегда ненавидел роль секунданта и предпочитал действовать сам. За обедом в этот день у Алексеева Пушкин был очень весел и, возвращаясь, благодарил меня, объявив, что если, когда представится такой же случай, то чтобы я не отказал ему в советах – и пр.».

Дуэль могла быть очень серьёзной, и исход её трудно предвидеть. Но снова рядом с Пушкиным оказались люди, которым дорог был и сам Александр Сергеевич, и его поэтическое творчество. Не все, далеко не все литераторы, к большому сожалению, были таковыми, как Иван Иванович Лажечников, как Александр Фомич Вельтман, как Владимир Александрович Соллогуб. Вспомним, как стрелял в Пушкина мнивший себя поэтом Рылеев. Неслучайно он оказался в рядах врагов Российской империи, пытавшихся сокрушить её в декабре 1825 года.

Между тем Пушкин словно притягивал к себе острые ситуации. И всякий раз конфликты завершались если и не поединками, то приглашениями к ним.

Дуэль из-за «Чёрной шали»

В Кишинёве Александр Сергеевич, несмотря на свои шалости, многие из которых были связаны именно с дуэлями, постоянно и плодотворно работал. Буквально в первые дни своего пребывания в этом городе он написал романтическое произведение «Дочери Карагеоргия».

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью!
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смирненной жизнью пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.

Это стихотворение вошло затем в цикл «Песен западных славян» и посвящено гибели бывшего господара Сербии Карагеоргия (Чёрного Георгия), бежавшего из Сербии в 1813 году в Бессарабию и скрывавшегося в Хотине. А в Сербии после побега господара бывший его соратник Милош Обренович сумел наладить отношения с турками, которые признали его «кнезом». В 1815 году Обренович снова поднял восстание против турецкого владычества. Полагая, что настал час полного освобождения, Карагеоргий в 1817 году вернулся тайно в Сербию. Это не устраивало Милоша Обреновича, и он сообщил туркам, где скрывается Карагеоргий. По их приказу он убил соперника, а голову убитого отправил белградскому паше. Эта история поразила Пушкина, узнавшего о ней в Кишинёве, и он рассказал о ней в своих поэтических произведениях «Дочери Карагеоргия», в «Песне о Георгии Чёрном» и «Воевода Милош».

Стихотворение «Дочери Карагеоргия» сразу привлекло внимание к поэту. А он продолжал работу и вскоре, спустя примерно месяц после приезда в Кишинёв, набросал черне новое стихотворение, которое загадочно назвал «Чёрная шаль».

Гляжу, как безумный, на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил;
Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до чёрного дня.
Однажды я созвал весёлых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;
«С тобою пируют (шепнул он) друзья;

Тебе ж изменила гречанка твоя».
Я дал ему злата и проклял его
И верного позвал раба моего.
Мы вышли; я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.
Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...
В покой отдалённый вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.
Не взвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.
Безглавое тело я долго топтал
И молча на деву, бледнея, взирал.
Я помню моления... текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь!
С главы её мёртвой сняв чёрную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.
Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.
С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю весёлых ночей.
Гляжу, как безумный, на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Кишинёвский знакомец Пушкина – другом и даже приятелем его назвать трудно, в связи с его участием в провоцировании последней дуэли Пушкина – В. П. Горчаков, оставивший воспоминания о пребывании поэта в Бессарабии, назвал это произведение «драматической песней, выражения самой знойной страсти».

Известный мемуарист барон Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) в своих знаменитых «Записках» поведал:

«...В Кишинёве проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была не высока ростом, худощава, и черты у неё были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица её прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У неё был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с её слов, Пушкин переложил на русский язык, под именем “Чёрной шали”. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она ещё языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении её, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история, верно, сохранила бы нам её вместе с именами Фрины и Лаисы...»

А Иван Петрович Липранди (1790–1880) в «Дневнике и воспоминаниях», посвящённом пребыванию Пушкина в Кишиневе, прибавил к тому:

«...Третий субъект был армянин, коллежский советник Артемий Макарович Худобашев, бывший одесский почтмейстер. Худобашев в “Чёрной шали” Пушкина принял на свой счёт “армянина”. Шутники подтвердили это, и он давал понимать, что он действительно кого-то

отбил у Пушкина. Этот, узнав, не давал ему покоя и, как только увидит Худобашева (что случалось очень часто), начинал читать “Чёрную шаль”. Ссора и неудовольствие между ними обыкновенно оканчивались смехом и примирением, которое завершалось тем, что Пушкин бросал Худобашева на диван и садился на него верхом (один из любимых тогда приёмов Пушкина с некоторыми и другими), приговаривая: “Не отбивай у меня гречанок!” Это нравилось Худобашеву, воображавшему, что он может быть соперником...»

Однако эта самая «Чёрная шаль» едва не привела к поединку...

В. П. Горчаков вспоминал:

«...В то утро много было говорено о так названной Пушкиным Молдавской песне “Чёрная шаль”, на днях им только написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре; Пушкин это заметил и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть её; но, повторив вразрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошёл Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался. Пушкин настоятельно требовал и, как резвый ребёнок, стал, шутя, затрогивать его рапирой. Друганов отвёл рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтò предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне Молдавскую песню. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением; каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. При этом я не могу не вспомнить одно моё придиричивое замечание: как же, заметил я, вы говорите: “в глазах потемнело, я весь изнемог”, и потом: “вхожу в отдалённый покой”.

– Так что ж, – прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница, – это не значит, что я ослеп.

Сознание моё, что это замечание придиричиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню.

– Да за что же? – спросил я.

– Он думает, – отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои, – что это я написал на его счёт.

– Странно, – сказал я и вместе с тем пожелал видеть этого армянина – соперника мнимого счастливица с мнимой гречанкой.

И, Боже мой, кого ж я увидел, если б вы знали! самого неуклюжего старичка, армянина, – впоследствии общего нашего знакомого, Артемия Макаровича, которым я не могу не заняться.

– Да, оно, конечно, – говорил Артемий Макарович, – оно, конечно, всё правда, понимаю; да зачем же Пушкину смеяться над армянами! Каково покажется: “Чёрная шаль”, эта драматическая песня, выражение самой знойной страсти, есть насмешка над армянами! Но где тут насмешка и в чём, кто его знает!

А между тем тот же Артемий Макарович под влиянием своих подозрений, при толках о Пушкине, готов был вернуть своё словцо, не совсем выгодное для Пушкина, и таким-то образом нередко Пушкин наживал врагов себе...»

Сначала Пушкин назвал стихотворение «Молдавской песней», но затем всё же решил – это «Чёрная шаль».

Ну а вызов Пушкиным на дуэль егерского штабс-капитана Ивана Друганова, который служил адъютантом генерала М. Ф. Орлова, удалось расстроить и противников примирить.

Национальное качество – подлость

Вторая кишинёвская дуэль намечалась с тем человеком, национальное качество которого – подлость, то есть с соотечественником будущего убийцы поэта, с отставным французским офицером Дегильи.

Дегильи был слабохарактерным человеком, и жена вертела им как хотела. К тому же француз был несколько трусоват, как, впрочем, и большинство его соотечественников. Ну и тоже национальная особенность – подлость – была его неизменным качеством.

Пушкин, заметив, что Дегильи находится полностью под каблуком у жены, высмеял его, что привело француза в негодование. Посыпались оскорбления в адрес поэта, чего тот, конечно же, стерпеть не мог.

Последовал вызов на дуэль.

Дегильи, поскольку у него не было, как впоследствии у Дантеса, кольчуги, да и не могло быть, драться отказался. Мало того, стал жаловаться всем подряд в кишинёвском обществе, что Пушкин хочет его убить.

Отказ от поединка в ту пору был делом неслыханным. 6 июня 1821 года Пушкин, который прекрасно рисовал, написал Дегильи жёсткое письмо, где не только называл его трусом, но и нарисовал карикатуру.

Ну а письмо было очень и очень резким. Пушкин гневно писал:

«К сведению г-на Дегильи, бывшего французского офицера. Недостаточно быть трусом, нужно ещё быть им в открытую.

Накануне паршивой дуэли на саблях не пишут на глазах у жены слёзных посланий и завешания; не сочиняют нелепейших сказок для городских властей, чтобы избежать царапины; не компрометируют дважды своего секунданта.

Всё то, что случилось, я предвидел заранее и жалею, что не побился об заклад.

Теперь всё кончено, но берегитесь.

Примите уверение в чувствах, какие вы заслуживаете.

6 июня 1821.

Пушкин».

А потом прибавил постскриптум:

«Заметьте ещё, что впредь, в случае надобности, я сумею осуществить свои права русского дворянина, раз вы ничего не смыслите в правах дуэли».

Пушкинист Яков Аркадьевич Гордин пояснил фразу «осуществить свои права русского дворянина» следующим образом:

«Дворянин не имеет права вмешивать государство – городские власти – в дуэльные дела, то есть прибегать к защите закона, запрещающего поединки.

Дворянин не имеет права опускаться на недворянский уровень поведения.

Опускаясь на подобный уровень, он лишает себя права на уважительное, хотя и враждебное поведение противника, и должен быть подвергнут унижительному обращению – побоям, публичному поношению. Он ставится вне законов чести... И не потому, что он вызывает презрение и омерзение сам по себе, а потому главным образом, что он оскверняет само понятие человека чести – истинного дворянина.

Отказ дворянина от дуэли представляется... пределом падения, несмываемым позором».

И ещё один момент...

Поединок на саблях Пушкин упомянул неслучайно. Ему уже приходилось иметь дело не только с холодным оружием, но и с иными видами огнестрельного, когда вызвал на дуэль тоже француз, из эмигрантов.

Барон де С..., по праву вызванного, мог выбрать оружие, но зная, что Пушкин прекрасно стреляет из пистолета, предложил поединок с использованием ружей.

Благодаря такому выбору, который рассмешил секундантов и заставил, в конце концов, улыбнуться противников, удалось достичь примирения сторон. Дуэль не состоялась.

Завтрак под дулом пистолета

Вспыльчивый характер Пушкина и его щепетильность нередко приводили к ссорам. Особенно щепетил поэт был в отношениях с военными. Воин в душе и отважный воин, что он доказал участием в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов, он неуютно чувствовал себя в штатском мундире, когда рядом были brave военные. И, видимо, это заставляло его болезненно реагировать на неосторожное словцо или острую шутку, которой порой отпустивший её и не стремился задеть поэта.

Ссора с прапорщиком Генерального штаба Александром Николаевичем Зубовым произошла вскоре после приезда Пушкина в Кишинёв. Прапорщик Генерального штаба! Странное воинское звание. Одно дело – полковник, другое – прапорщик. Но полковник вполне мог заниматься оперативно-тактическими вопросами, а вот прапорщик. Это, скорее всего, разведка. Ну и сотрудник Коллегии иностранных дел – это тоже фактически разведчик.

Развлечений в городе было немного. Ну что ж, в ту пору молодые люди находили занятия хоть и не слишком праведные, но позволяющие коротать время. Играли в карты. Пушкин слыл неплохим игроком. Однажды выпало играть, как уже упоминалось, с прапорщиком Александром Зубовым.

Существует несколько версий ссоры. По одной из них, Зубов, проигрывая, стал жульничать. Ну а шуллерство порицалось в любой среде, тем паче в военной. Пушкин же вписался в эту среду и жил по её законам.

Заметив, что Зубов жульничает, он заявил об этом и вывел его на чистую воду.

Зубов вскочил с места, стал оправдываться, дерзить. В конце концов, всё окончилось ссорой и приглашением к поединку.

Есть и другая версия. По ней Пушкин будто бы проиграл очень крупную сумму. Увы, случалось и такое. Проиграть проиграл, а платить нечем. Тут для ясности надо сказать, что расплачивался он всегда честно. И в данном случае не собирался отказываться от долга. Но куда же деть досаду и раздражение?! Видно, захотелось немного позлить сиявшего от удовольствия партнёра, ну и бросил весьма дерзкую фразу, мол, сумма то слишком велика. Нельзя же подобные суммы выплачивать, если даже и проиграл. Партнёр вспылел, произошла ссора.

Которая из версий предпочтительнее, сказать трудно. Впрочем, итог один. Дуэль! Условились драться на весьма жёстких условиях. Поединок на дистанции 12 шагов – часто оказывался смертельным.

Пушкин обладал необыкновенным мужеством. Он словно играл с судьбой, порою открыто демонстрируя равнодушие к смерти.

Военный историк Иван Петрович Липранди (1790–1880), деятель тайной полиции и автор воспоминаний о Пушкине, писал:

«Я знал Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности, словом, когда он становился лицом к лицу со смертью, когда человек обнаруживает себя вполне, Пушкин обладал в высшей степени невозмутимостью, при полном сознании своей запальчивости, виновности, но не выражал ее. Когда дело дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед. На моем веку, в бурное время до 1820 года, мне случалось не только что видеть множество таких встреч, но не раз и самому находиться в таком же положении, а подобной натуры, как у Пушкина в таких случаях, я встречал очень немногих. Эти две крайности, в той степени, как они соединялись у Александра Сергеевича, должны быть чрезвычайно редки. К сему должно еще присоединить, что первый взрыв его горячности не был недоступным до его рассудка».

И вот на место дуэли Пушкин пришёл тот раз с одним секундантом и с полной фуражкой черешни.

Вспомним рассказ «Выстрел»...

«Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шёл пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишиться его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моём. Я опустил пистолет.

– Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать.

– Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно: выстрел ваш остаётся за вами; я всегда готов к вашим услугам.

Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился».

Так в рассказе. Теперь посмотрим, как было в жизни.

Пока прапорщик Зубов готовился к своему выстрелу, пока наводил пистолет, Пушкин преспокойно ел черешню ровно так, как описано в рассказе.

Наконец, Зубов выстрелил и промахнулся. Видимо, подействовала на него неустрашимость и невозмутимость Пушкина. Тогда Пушкин, как вспоминал впоследствии Владимир Горчаков, спокойно подошёл к противнику и поинтересовался: «Довольны вы?»

Растроганный Зубов бросился к Пушкину, пытаясь его обнять, но тот отстранился, заявив: «Это лишнее». И спокойно пошёл прочь.

Интересно, что Александр Зубов по материнской линии был внуком Александра Васильевича Суворова. Его мать – знаменитая Наташа-Суворочка, о которой великий полководец говорил: «Смерть моя для Отечества – жизнь моя для Наташи», а вот по отцовской линии похвастать прапорщику нечем. Отец, сановный уголовник Николай Зубов, тот самый мерзавец, который первым нанёс удар украденной им в суматохе золотой табакеркой в висок Павлу Петровичу. Ну а дед – дед, названный И. М. Долгоруковым в «Повести о рождении моём, происхождении и всей жизни...» самым «бесчестнейшим дворянином во всём государстве», запятнавшим себя «целым рядом вопиющих нарушений законов», и «главной причиной всех его поступков было его ненасытное корыстолюбие».

Ну что ж, в зубовском отпрыске сыграла свою роль кровь великого Суворова, и ему, по крайней мере, хватило сил поблагодарить Пушкина за дарованную ему жизнь, ибо, решив Пушкин стрелять, исход был бы определён. Пушкина называли «огненным стрелком». На промах его противникам рассчитывать не приходилось, оттого-то многие дуэли и заканчивались примирением до их начала.

«...дело с храбрым и хладнокровным человеком...»

В. П. Горчаков рассказал и о таком случае:

«Пушкин... имел столкновение... с командиром одного из егерских полков наших, замечательным во всех отношениях полковником С. Н. Старовым. Причина этого столкновения была следующая: в то время вы, верно, помните, так называемое Казино заменяло в Кишиневе обычное впоследствии собрание, куда все общество съезжалось для публичных балов. В кишиневском Казино на то время ещё не было принято никаких определительных правил; каждый, принадлежавший к так называемому благородному обществу, за известную плату мог быть посетителем Казино; порядком танцев мог каждый из танцующих располагать по произволу; но за обычными посетителями, как и всегда, оставалось некоторое первенство, конечно, ни на чём не основанное. Как обыкновенно бывает во всём и всегда, где нет положительного права, кто переспорит другого или, как говорит пословица: “Кто раньше встал, палку взял, тот и капрал”. Так случилось и с Пушкиным. На одном из подобных вечеров в Казино Пушкин условился с Полторацким и другими приятелями начать мазурку; как вдруг никому не знакомый молодой егерский офицер полковника Старова полка, не предупредив никого из постоянных посетителей Казино, скомандовал играть кадрили, эту так называемую русскую кадрили, уже уступавшую в то время право гражданства мазурке и вновь вводимому контрдансу, или французской кадрили. На эту команду офицера Пушкин по условию перекомандовал:

– Мазурку!

Офицер повторил:

– Играй кадрили!

Пушкин, смеясь, снова повторил:

– Мазурку! – и музыканты, несмотря на то что сами были военные, а Пушкин фрачник, приняли команду Пушкина, потому ли, что он и по их понятиям был не то что другие фрачники, или потому, что знали его лично, как частого посетителя: как бы то ни было, а мазурка началась. В этой мазурке офицер не принял участия. Полковник Старов, несмотря на разность лет сравнительно с Пушкиным, конечно, был не менее его пылок и взыскателен, по понятиям того времени, во всём, что касалось хотя бы мнимого уклонения от уважения к личности, а поэтому и неудивительно, что Старов, заметив неудачу своего офицера, вспыхнул негодованием против Пушкина и, подозвав к себе офицера, заметил ему, что он должен требовать от Пушкина объяснения в его поступке.

– Пушкин должен, – прибавил Старов, – по крайности, извиниться перед вами; кончится мазурка, и вы непременно переговорите с ним.

Неопытного и застенчивого офицера смутили слова пылкого полковника, и он, краснея и заикаясь, робко отвечал полковнику:

– Да как же-с, полковник, я пойду говорить с ним, я их совсем не знаю!

– Не знаете, – сухо заметил Старов, – ну так и не ходите; я за вас пойду, – прибавил он и с этим словом подошёл к Пушкину, только что кончившему свою фигуру.

– Вы сделали невежливость моему офицеру, – сказал Старов, взглянув решительно на Пушкина, – так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы будете иметь лично дело со мною.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.